

# «МОЯ ИСПОВЕДЬ» ОГАРЕВА

Статья и публикация М. Нечкиной

Намерение Огарева написать воспоминания, свою «исповедь», давно известно исследователям. В 6-й книге «Полярной звезды» (1861), публикуя под названием «Кавказские воды» воспоминания о поездке на Кавказ и о встрече там с сосланным декабристом А. И. Одоевским, Огарев дал публикации подзаголовок: «Отрывок из моей исповеди». Однако за этим отрывком других глав не последовало, и подзаголовок воспринимался читателем как свидетельство о случайно промелькнувшем замысле, оставшемся неосуществленным, или даже просто как поэтическая условность, образный оборот речи. Поэтому отрывок, имеющий высокое идейное и биографическое значение, — «Кавказские воды», в сущности оставался одиноким текстом, и никто не воспринимал его как часть пусть и нереализованного целого<sup>1</sup>.

Но в 1941 г. Б. П. Козьмин напечатал в «Литературном наследстве» в числе «отрывков и набросков» Огарева новый текст, свидетельствовавший о том же замысле. Возник этот текст при следующих обстоятельствах. В день именин своего друга, 6 декабря 1856 г., Герцен подарил ему записную книжку с надписью: «Огареву — для того, чтобы до будущих именин исписать всё и притом не прозой»<sup>2</sup>. В ответ на это Огарев в той же записной книжке написал своеобразное письмо, обращенное к Герцену, так и оставшееся на страницах подаренной тетради. Огарев сообщал «другу неизменному» о своем намерении написать «Исповедь», но не стихами, а прозой. Замысел, судя по всему характеру изложения, был новым, недавним. Герцен подарил Огареву тетрадь не для прозы, а для стихов, значит даже он еще ничего не знал об этом замысле. «Как быть! Вопросы, которые *теперь* накопились в уме, просятся наружу, а высказать их в стихах невозможно», — писал Огарев<sup>3</sup>. Подчеркнутое нами слово «теперь» оттеняет известную новизну замысла, — он возник «теперь», а не «раньше» или «давно». «Это моя исповедь, мои *записки*, — объясняет далее Огарев; — но задача их не та, которую ты так искренне высказал в твоих записках. Я не могу писать исповедь сердца, жизни, поступков. Не могу — у меня на это нехватает храбрости. Нет сомнения, что под словами: «в твоих записках» — надо разумеет «Былое и думы» Герцена, основные главы которых уже были созданы к тому времени. Огарев ставит себе другую цель — «...беру иную задачу, которая меня сильно тревожит. Это — умственное теоретическое развитие, это история личного пути, по которому я искал верований, убеждений, истин и, наконец, я хочу высказать результаты, к которым я пришел, общность, целое убеждений, которых я достигнул долгой работой мысли и жизни, понимания и опыта и которые мне теперь хочется привести в порядок. На эту исповедь у меня болезненная потребность...».

Так определяется и характер замысла Огарева и самый момент его возникновения. Считая это обращение к Герцену в ответ на его подарок — началом работы над «Моей исповедью», мы можем датировать это начало декабрем 1856 г., поскольку тетрадь была подарена Огареву в декабре, а запись сделана, по видимому, вскоре после получения подарка.

Таким образом выясняется и обстановка, в которой возник замысел «Моей исповеди»: Герцен начал писать «Былое и думы» в 1852 г., в Лондоне, в одиночестве («В Лондоне не было ни одного близкого мне человека», — пишет он в предисловии). В 1856 г. приехал Огарев и познакомился со всем тем, что было написано. Огарев вновь пережил

рассказанное Герценом; многое, не рассказанное другом, воскресло в память картины прошлого вставали в образах и слагались в целое, вспоминался весь жизненный путь.

Работа Герцена над текстом «Былого и дум» в известной мере побуждала Огарева осуществлять собственный замысел и, вместе с тем, сравнение своих и герценовских задач помогло ему определить специфику «Исповеди», которая, в понимании Огарева, отличалась от специфики «Былого и дум».

Основная тема, основная идея произведения Огарева определилась как история формирования мировоззрения. «Мне кажется, рассказ о том, как развивалась умственная жизнь человека, принимавшего это развитие к сердцу, — не может быть бесполезен» — пишет Огарев в том же документе — в обращении к «другу неизменному»<sup>5</sup>.

Таким образом, лишь два отрывка представляли до последнего времени текст «Моей исповеди» Огарева. В настоящее время дело существенно меняется: новые обширные главы «Моей исповеди» оказались в записных книжках Огарева, сохранившихся в «пражской коллекции». Теперь мы являемся обладателями двух обширных глав «Моей исповеди» (сверх уже упомянутой выше — «Кавказские воды»). В этих главах Огарев начинает рассказ с описания детских лет и доводит его до порога Московского университета, иначе говоря, дает завершённое повествование о значительном этапе своей жизни (в *приложении* к публикации печатается небольшой отрывок из какого-то другого автобиографического сочинения Огарева; в отрывке речь идет о поступлении в университет). Таким образом, в наших руках теперь столь обширная и в известном смысле законченная «первая часть» «Исповеди» — до университета, — что вся «Исповедь» получает самостоятельное звучание: это уже не разрозненные фрагменты, а значительная часть большого замысла.

«Моя исповедь» обращена к Герцену. Знакомство с Герценом — водораздел в истории жизни и в то же время рубеж, делящий новую рукопись на две основные части, дающий ей внутреннюю структуру: «До знакомства с тобой» — называется первая глава новой рукописи, «От знакомства с тобой» — озаглавлена вторая. Огарев хочет, чтобы его рукопись была дополнением к «Былому и думам». Действительно, найденные новые тексты должны быть соотнесены с началом знаменитых герценовских мемуаров: ведь Герцен говорит о своем друге с момента знакомства с ним, — Огарев же в первой главе рассказывает историю своего умственного развития до этого времени. Это — тема, почти не освещенная в «Былом и думам». Далее, в главе, посвященной первому знакомству с Герценом, — многое восполняет первые главы «Былого и дум», вносит новые черты в историю жизни и идейного развития обоих друзей. Конечно, между замыслами мемуаров Огарева и Герцена остается существенная разница: Герцен писал для широкого круга читателей, Огарев лишь для себя и для Герцена. «Я хочу исповеди, — писал Огарев, — это мое совершенно личное дело». Огарев отнюдь не предназначал «Мою исповедь» для печати, — он хранил ее в потаенной записной книжке, и Герцен был ее единственным читателем.

В первой же главе новой рукописи, на первых ее страницах Огарев еще точнее раскрывает свой основной замысел: «Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя». Замысел был, таким образом, подчинен, несомненно, материалистической идее, — Огарев хотел изучить «логику природы, необходимости» в истории своей жизни: «Мысль и страсть, здоровье и болезнь — всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику — не мою, а на ту логику природы, необходимости, которую древние называют *fatum* и которая для наблюдающего, для понимающего есть процесс жизни». Конечно, материализм Огарева был далек от подлинного научного материализма. Но его убежденность в необходимости материалистического истолкования наблюдаемых им явлений человеческой жизни и законов ее развития — вне сомнений. Конечно, ему не удалось найти правильных формулировок — обобщающая терминология почерпнута Огаревым из арсенала естественно-научного материализма и сводится в основном к «медицинским» формулам («Моя исповедь должна быть отрывком из физиологической патологии человеческой личности»), — но в то же время отчетливо видны поиски закономерностей развития и явственно выражены сомнения в правильности

вульгарного материализма: «Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных [потрясений под впечатлениями предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще своей формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой — натянутые теории по крупным данным — и обе науки, которые должны составлять одно! целое, хромают вразбивку».

Когда именно возник замысел «Моей исповеди» и началась работа над рукописью — уже определено нами выше, — это, вероятнее всего, самый конец 1856 г. Но можно приблизительно определить и ту дату, ранее которой был закончен имеющийся в нашем распоряжении текст. Обратим прежде всего внимание на то, что рассказ о встрече с Одоевским на Кавказе («Кавказские воды») опубликован в книжке «Полярной звезды» на 1861 г., вышедшей из печати в марте, то есть был написан до 1861 г. или в самом начале 1861 г. Хронологически этот рассказ относится к событиям, случившимся много позже тех, которые описаны в новых главах «Моей исповеди»: новые главы кончатся кануном поступления Огарева в университет, кавказское же путешествие освещает период ссылки, женитьбы, т. е. период, начавшийся после университета. Конечно, Огарев мог писать дошедшие до нас главы, не руководствуясь хронологической последовательностью, но в самом тексте новых глав «Моей исповеди» (см. ниже) есть примета, заставляющая предположить, что написаны они до 1861 г. и вместе с тем ярко свидетельствующая об отношении Огарева к дворянству как к эксплуататору крестьян. Огарев считает, что в жилах дворянства течет низкая холопская кровь, в отличие от народа, в котором «добровольно-холопской крови нет»: «Холопам нужна нисходящая лестница холопства; от этого (<...>) большинство дворянства не может добровольно отказаться от рабовладения; и только меньшинство болезненно, мучительно стремится перейти в народ, меньшинство и теперь такое же малое, как оно было во время 14 декабря. О, история!» Этот текст, вероятно, относится ко времени до 1861 г.

Подтверждается это предположение следующими особенностями автографов глав «Исповеди» в записных книжках Огарева. Рядом с основной рукописью первой главы «Моей исповеди» и первоначальным зачеркнутым вариантом главы второй, на соседствующих листах той же записной книжки (ед. хр. 43а) находятся автографы двух произведений Огарева — поэмы «Мария Магдалина» и цикла стихотворений «Воспоминания детства». Оба эти произведения были напечатаны в той же «Полярной звезде» на 1861 г., в которой появился названный выше отрывок из исповеди — «Кавказские воды». Автограф поэмы «Мария Магдалина» находится на лл. 40—45, автограф цикла «Воспоминания детства» — на лл. 46—53, автограф же «Моей исповеди» непосредственно вслед за ними, на лл. 54—116, и заключает записную книжку. Это соседство указывает на приблизительную одновременность возникновения всех трех автографов, т. е. на период времени: конец 1860 — начало 1861 г. Вторая записная книжка открывается перебеленным текстом второй главы «Моей исповеди», причем Огарев продолжил собственноручную нумерацию страниц «Исповеди», начатую в предыдущей записной книжке. (Первая глава занумерована стр. 1—53, вторая глава начинается с 54-й и следует до 91-й).

Переписывая текст второй главы в новую записную книжку, Огарев продолжал работу над ним, многое изменял, дополнял и писал заново. Эта вторая редакция главы II (публикуемая нами) датируется более поздним временем. На более позднюю дату указывает тот факт, что все другие тексты, находящиеся в этой книжке (ед. хр. 43б), относятся к периоду август 1862 — август 1863 г. и вносились в книжку: последовательно после текста 2-й главы «Исповеди». Поскольку текст этой главы непосредственно предшествует поэме «Странник», над которой Огарев работал летом и осенью 1862 г., мы вправе датировать его: *около середины 1862 г.*

Таким образом, мы приходим к выводу, что все известные нам тексты, относящиеся к «Моей исповеди» Огарева, от напечатанных ранее — обращения к Герцену и «Кавказских вод» — до найденных теперь двух новых глав, написаны, повидимому, между самым концом 1856 г. и серединой 1862 г., причем глава I «Моей исповеди» и первая

редакция главы II относятся к зиме 1860—1861 гг., окончательная редакция главы II — к лету 1862 г.

Теперь, в соответствии с замыслом самого Огарева, проследим за пробуждением его сознания. Как возникли в нем тревожные вопросы о том, справедливо ли устроен окружающий его мир человеческих отношений, как выросли в нем сомнения в правах угнетателей, как сложились предпосылки для последующего формирования революционного мировоззрения? Хотя текст новонайденных глав говорит только о первых пятнадцати годах жизни Огарева, то есть только о детстве и отрочестве, можно поистине удивляться тому как много материала для ответа на поставленные вопросы находим мы в его рассказе.

Николай Огарев родился в семье очень богатого помещика — владельца четырех тысяч крепостных душ. Казалось, мы могли бы прочесть в начале «Моей исповеди» рассказ о золотом детстве любимого и балованного дворянского сына, лишь в позднюю пору отрочества начавшего разбираться в окружающей действительности. Но в «Моей исповеди» картина «счастливой и невозвратимой» поры раннего детства отсутствует. Перед нами рассказ о «страдальческом детстве» болезненного, нервного и слабого ребенка, окруженного атмосферой деспотического холодного дома, в котором «царствовала тяжеловесная скука». Огарев не ходил до четырех лет («Во всему детству у меня примешано воспоминание болезни и слабости», — пишет он). Гулять ребенка почти не водили, его лечили «домашним заключением», и зимою мальчик почти не выходил из комнаты. Мать умерла, когда ребенку было полтора года. Отец «был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении». Деспотизм отца Огарев объясняет не свойствами его характера, а всего российского общественного строя. «Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно <...> Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой».

«Было что-то страдальческое в моем детстве», — пишет Огарев. В конфликте между холодом родительского дома, где царил деспотизм, и инстинктивным сознанием права на какую-то другую — настоящую — жизнь и вырастает первоначальный протест ребенка-Огарева. Этот протест скрытен, но тем мучительнее и напряженнее копится подавленная обида. «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность». Такое положение будило работу мысли: «Замкнутая работа в самом себе как раз согласовалась с скрытностью, выросшей от удушливой домашней атмосферы».

Мир, окружавший ребенка, был узок, но все же в него порой врываются элементы реального большого мира тех лет. Ребенок мог порою наблюдать явления сложной действительности, то там, то тут прорывавшейся в тепличную атмосферу детской. Ребенком Огарев видел и богатый помещичий дом — и «холодную и дымную» крестьянскую избу, где ночевали господа при переезде на лето из Москвы в Акшено. Запомнил он и «Муромский лес, где все женщины боялись разбойников». Огарев видел не только отца, бабушку, ее компаньонку, гувернанток, но и многочисленную дворню, крепостного дядьку Булатова, мамушку Прасковью Алексеевну, дворовую девочку Аришку на побегушках, — крепостных, подневольных людей. Были у мальчика и крепостные учителя: читать и писать выучил Огарева крепостной дядька: «он сказывал мне сказки, он помогал мне, играя в игрушки, фантазировать из них целые истории». Кроме гувернанток, Огарева учил музыке крепостной капельмейстер Василий Иванович Немвродов — «...человек далеко не бездарный». Тут же приводится интересный факт — мелкий, но не лишенный своеобразия: дядька говорил Огареву о грехе быть вольтерьянцем, — этого я не понимал, но это возбуждало во мне любопытство». Умирая, бабушка поручила мальчику передать суровому отцу ее желание — отпустить дядьку Булатова на волю. Огарев выполнил поручение бабушки, но отец не отпустил Булатова — подросток не мог не задуматься над этим. Таким образом основной антагонизм эпохи — антагонизм между помещиками и крепостными — рано попал в поле внимания мальчика.

Размышляя над тем, как проснулось сознание Огарева, как возникли у подростка первые вопросы, поражаешься двум особенностям. Первая — чрезвычайно раннее идейное развитие; вторая — несомненное влияние идеологии декабристов на политическое пробуждение подростка еще в те годы, когда существовало и действовало тайное общество, иными словами — до 14 декабря 1825 г.

Сам Огарев относит «зачатки мышления» и «замкнутую работу в самом себе» к девятилетнему возрасту, то есть примерно ко времени с 1822 г. Действительно, факты, приводимые им, свидетельствуют о «наком-то раздумье, в котором пробивалась мысль». Носительницей идеологии декабристов в семье Огарева и живой связью с ними была тетка декабриста С. Н. Кашкина — единственный друг рано умершей матери Огарева, Елизавета Евгеньевна Кашкина («Елизавета Евгеньевна» по тексту «Моей исповеди»). «Я упоминаю о ней, — пишет Огарев, — потому что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря». «...Елиз(авета) Ев(геньевна) все свои мнения и речи почерпала в кругу декабристов, к которым тогда принадлежал ее племянник, Сергей Николаевич Кашкин». Гувернантка Огарева, Анна Егоровна (мальчик был к ней чрезвычайно привязан), находилась под непосредственным идейным воздействием Кашкиной. «Следственно, всё движение декабристов отзывалось в образе мыслей Анны Ег(оровны) и через нее отзывалось во мне, невольно, смутно, но отзывалось. Ей я обязан, если не пониманием, то первым чувством человеческого и гражданского благородства. Ей я обязан первым впечатлением поэзии...»

Из родословных данных о Кашкиных мы узнаем, что Елизавета Евгеньевна родилась 17 февраля 1786 г. в г. Тобольске. Ее отец, Евгений Петрович Кашкин, состоял «правлящим должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского» (таково было его официальное звание). Как вспоминала потом о ней Екатерина Ивановна Раевская (урожд. Бибикова), «Е. Е. Кашкина была замечательно умная, остроумная и веселая личность». Замуж Е. Е. Кашкина не вышла: она осталась верна памяти жениха, убитого на войне 1812 года. Воспоминания Е. И. Менгден тоже тепло рисуют облик Е. Е. Кашкиной и — что особенно интересно — свидетельствуют о «вольнодумстве» ее подруг. Менгден рассказывает, как вместе со своей подругой Лизой Кашкиной пошла в театр и как это совместное посещение театра вызвало гнев строгой матери: «... могли бы потрудиться мать спросить, но вы Вольтера начитались, мать ни во что не ставите, своим умом живете», — кричала барыня<sup>6</sup>. Вероятно, матери было что-то известно о чтении девушками запрещенных книг.

К моменту восстания декабристов Е. Е. Кашкиной было 39 лет, таким образом свидетельству Огарева о ее возрасте надо признать очень точным.

Кашкина была много старше своего племянника-декабриста, которому в 1825 г. исполнилось 26 лет. Поэтому естественно предположить, что Кашкина пришла к восприятию передовых идей самостоятельным путем, едва ли ее мировоззрение сложилось всецело «под влиянием» племянника. Может быть, она-то как раз и содействовала формированию его вольнодумства? Она уже была вполне взрослым человеком, когда он был юношей, искавшим ответа на волновавшие его вопросы... Особенно важно отметить, что после восстания 1825 года Е. Е. Кашкина переселилась в деревню (дер. Прыски), «разделяя время ссылки туда своего племянника Сергея Николаевича Кашкина», как пишет об этом Н. Н. Кашкин в своих «Родословных разведках».

У семьи Кашкиных были прочные связи с участниками движения декабристов. «Сын сенатора Николая Евгеньевича Кашкина — декабрист Сергей Николаевич Кашкин был двоюродным братом декабриста Оболенского. Образование он получил в Московском университете. Родился С. Н. Кашкин в 1799 г. — на рубеже столетия, — и вступил в общество декабристов в 1823 г., принятый Оболенским. Он был осведомлен о цели борьбы за конституцию и за ликвидацию абсолютизма. Видимо борьба против крепостного права особенно привлекала его. Он вступил в общество, «чтобы стараться о распространении просвещения и освобождении дворовых людей от подданства», — записано в его обвинении. Оставив службу в гвардии (он служил в одном полку с Оболенским — лейб-гвардии Павловском), Кашкин, как и друг его декабрист И. И. Пущин, вступил в «гражданское поприще», став заседателем 1-го департамента Московского надворного суда. И. И. Пущин служил там же. Кроме службы их сближало

и общее дело. Приезжавший в Москву Оболенский содействовал организации Московской управы тайного общества, председателем которой был избран Пущин, а членом являлся Кашкин. Побывал в руках Сергея Кашкина и текст «Конституции» Никиты Муравьева. На следствии он утверждал, будто «не читал» ее, но этому трудно поверить: зачем же, в таком случае, он поспешил ее сжечь после «происшествия» 14 декабря? Если, кроме того, принять во внимание, что Сергею Кашкину было известно о намерении Якубовича совершить покушение на жизнь Александра I и о той сложной реакции, которую вызвало это предложение в тайной организации, можно сделать вывод, что он был довольно полно осведомлен о внутренней жизни Общества и о важнейших его документах?

Кашкины были старинными москвичами, осевшими в Москве плотным семейным гнездом, с «миллионом знакомых» и многочисленными прочными московскими связями. Оболенский, их родственник и близкий им идейно человек, постоянно посещал их, приезжая в Москву; через него шла тайная информация о положении дел в Петербурге и о внутренней жизни Северного общества. Учет принадлежность Оболенского к Рылеевскому центру и постоянный радикализм его политической позиции. Будущий начальник революционного штаба в день 14 декабря, участник убийства генерал-губернатора Милорадовича, а в последний час восстания — «диктатор» (он сменил на этом посту не явившегося на площадь диктатора Трубецкого), — Оболенский был среди декабристов одной из крупных и значительных фигур. Знавший «Русскую правду» Пестеля и даже занимавший одно время позицию полного согласия с Пестелем, он, несомненно, был немалой агитационной силой: распространителем идей движения. Кашкины находились в сфере действия его информации, его пропаганды.

Надо подчеркнуть, что волюнтаристские настроения, несомненно, сохранялись в семье Кашкиных и *после* разгрома восстания, а это бывало не во всех семьях декабристов. Николай Сергеевич Кашкин, основатель кружка социалистов-утопистов, вырос в семье декабриста, был его сыном, впоследствии он познакомился с Петрашевским и стал участником его кружка. Он был арестован по приказанию Николая и посажен в ту же Петропавловскую крепость, где раньше сидел его отец. Декабрист после ареста сына-петрашевца не только от него не отсекся, но переписывался с ним в бытность его в тюрьме. Когда петрашевцев везли на смертную казнь, издательски инсценированную Николаем I (после объявления смертного приговора осужденным было сообщено о замене смертной казни каторгой и поселением в Сибири), Николая Кашкина провезли мимо окон дома, где жили родители, — отец стоял у окна и смотрел на сына, а на другой день декабрист виделся с сыном-петрашевцем в тюрьме перед отправкой в ссылку<sup>8</sup>.

Обратим внимание на то, что в окружении декабристов были женщины, разделявшие их передовую идеологию. Исследователи еще не останавливались на этих замечательных женщинах. Мать Рылеева и невеста Михаила Бестужева не должны быть тут забыты. Лизвета Евгеньевна Кашкина тоже входит в круг женщин, разделявших идейные позиции декабристов. Видимо, в этой связи нельзя обойти вниманием и гувернантку Огарева, Анну Егоровну, жизнь которой, как свидетельствует Огарев, «прошла в круге знакомства Кашкиных. Лизвета Евгеньевна была ее лучшим другом». Через Анну Егоровну приходили к мальчику Огареву какие-то новые суждения об окружающем мире, новые оценки человеческих поступков, новые для ребенка представления о цели человеческой жизни. Как ни плохо преподавала ему греческую и римскую историю гувернантка №1, но мальчик сумел почерпнуть из древней истории «героическую тенденцию». Восьми лет Огарев написал сочинение — «письмо к мечтаемому другу, которого у меня не было, и уговаривал его жертвовать собою отечеству, подобно Фемистоклу и Аристиду». Отец расхвалил его с некоторым удивлением. «Мне было стыдно, — пишет Огарев, — но, когда я остался один, я чувствовал что-то вроде вдохновения. Мне было восемь лет, и я до сих пор не могу забыть этой минуты странного счастья, первого соединения героической тенденции с авторским самолюбием». Анна Егоровна переписала для 12-летнего мальчика всего «Войнаровского» Рылеева, — следовательно, Огарев получил представление об этом произведении еще до своего знакомства с Герценом и до восстания декабристов.

Первая дружба, промелькнувшая в жизни подростка еще до знакомства с Герценом, тоже возникла до восстания декабристов и тоже связана с восприятием их идей. Огарев в Кремлевском саду познакомился с детьми коменданта Москвы Веревкина и страстно привязался сначала к Николаю Веревкину, который, как вспоминает Огарев, был старше его на четыре года<sup>9</sup>, а затем к его брату Федору. Николай Веревкин «...уже писал стихи, какие-то подражания думам Рыльева,— говорит Огарев.— И я стал писать стихи».

Таким образом, поэтическое творчество Огарева возникает в атмосфере увлечения рылеевской поэзией, в атмосфере декабристской идеологии и — что особенно любопытно — в годы до восстания декабристов. «Рылеев был мне первым светом,— отец по духу мне родной»,— позже писал Огарев. Метафора эта оказывается насыщенной самыми реальными биографическими фактами, воздействием декабристской атмосферы, еще до восстания окружавшей подростка Огарева.

Огарев родился в 1813 г.— на следующий год после начала Отечественной войны. И для него и для Герцена 1812 год, его слава, его опасности, подвиги и героика были атмосферой детства. Николай Веревкин, как мы узнаем из «Моей исповеди», в то время писал думу о партизане Фигнере. Как сообщает Огарев, «двенадцатый год крепко отзывался во мне». Живое впечатление от звучащих кругом воспоминаний и поэтических образов усиливала сама Москва и московский Кремль. Мальчик играл с детьми московского коменданта на кремлевской стене, где «бывало так хорошо ранним летним утром в виду пол-Москвы чувствовать себя каким-то военным человеком».

Был еще один знакомец у подростка Огарева в догерценовский период, хотя и менее близкий, чем Веревкины. Это — Федор Левин, сын соседа и приятеля отца, года на три старше Огарева. Огарев писал о себе, что «к 2-му периоду» отрочества он уже принес «смутные стремления к знанию, поэзии и гражданской свободе». И старший знакомец его, Федор Левин, оказался новым источником тех же мыслей и настроений. Мы узнаем из «Моей исповеди», что Левин каждое воскресенье привозил из пансиона Болдырева, где учился, «тетради тогдашних запрещенных стихов Пушкина, Рыльева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя...». Нельзя не обратить внимания на то, что фамилия Левина (может быть, отца или родственника Федора Левина?) встречается в списке лиц, причастных к движению декабристов, но не привлеченных к следствию. Левин был членом Союза Благоденствия. На допросах в следственном Комитете князь С. Трубецкой дал о нем показания, — мы узнаем, что Левин вступил в общество в Москве, «в начале 1818 года», то есть стал членом только что основанного Союза Благоденствия; по вступлении ему была вручена Зеленая книга. Левин владел имением в Тамбовской губернии, и тайное общество поручило ему основать там управу Союза Благоденствия, но выполнил ли он это, Трубецкой не знал и не мог ничего показать об этом следствию. Интересно, что Левин был знаком с декабристом Новиковым, — автором первой декабристской конституции, не дошедшей до нас, — знаком с тем человеком, который принял в общество Пестеля<sup>10</sup>.

Русский учитель Волков — еще одно звено, связывавшее юного Огарева с идеологией «вольнодумства». Позже Волков стал учителем Герцена («оба, и Запольский и Волков, перешли от меня к тебе через Зонненберга», — замечает Огарев)<sup>11</sup>.

Первый и основной вывод, какой следует сделать, изучая формирование юношеского мировоззрения Огарева по «Моей исповеди», таков: Огарев вырос и сложился на русской почве. Его идейное развитие поразительно рано и органично связалось с основным идейным движением времени — движением декабристов, связалось и через близких людей старшего поколения (Л. Е. Кашкина, гувернантка Анна Егоровна), и через юных его товарищей (Николай Веревкин, Федор Левин), и через учителей (Волков и другие). Любовь к «гражданской свободе» соединялась с протестом против деспотизма отцовского дома, против гнета и рабоплеия.

Свободолюбивая идеология, складывавшаяся за рубежом, тоже была взята на вооружение Герценом и Огаревым. Они привлекли ее к решению задач, назревших в окружающей их русской действительности. На одном из первых мест стояла тут свободолобивая поэзия Шиллера и социальные концепции Руссо. Огарев узнал и полюбил поэзию Шиллера еще до знакомства с Герценом. «Что нам дал идеальный

Шиллер?» — писал Огарев, впервые излагая замысел «Моей исповеди» в обращении к Герцену, — и отвечал: «Благородство стремлений. Но это благородство стремлений наполнялось сознанием, отрицанием разумности и справедливости современного общества». О значении Шиллера пишет и Герцен в «Былом и думах»<sup>12</sup>.

Наконец, прогремели выстрелы на Сенатской площади, вспыхнуло и закончилось восстание 14 декабря 1825 г. Для подростка Огарева оно, несомненно, явилось еще одним этапом идейного развития. Страницы, рассказывающие об этом времени, пожалуй, лучшие в «Моей исповеди». Смерть императора Александра I уже поставила перед сознанием большие вопросы: «...у меня голпились в голове — Александр, <18>12 год, деяния российских полководцев, которые я недавно читал, «Певец в стане русских воинов», недавнее наводнение в Петербурге, смерть Александра — все это сливалось в смутном чувстве какого-то хода судеб, в страхе перед какой-то исторической огромностью». И, ощущая эту «историческую огромность», подросток уже тогда ставил перед собою вопрос о собственной роли в «ходе судеб»: «что-то представлялось мне темной загадкой, которую надо разрешить и пойти по своей избранной дороге»<sup>13</sup>. И далее — среди этих раздумий — внезапная весть о 14 декабря: «На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их; Волков не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла к заговорщикам и постепенно выработалась в их пользу».

Описанный далее случай с посещением старухи Челищевой должен прочно войти в биографию Огарева. Бабушку Огарева, незадолго до ее смерти, посетила старая знакомая Челищева. Дело было, как говорит Огарев, месяцем позже восстания декабристов. Мальчик случайно остался в комнате, и старуха при нем «долго толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные *приверженцы* отечества». Замечательное определение глубоко запало в душу мальчика, — и вместе с тем он, очевидно, решил хранить услышанное в тайне: когда бабушка потом заболела и в бреду все повторяла: «Да! Они настоящие приверженцы, приверженцы», — только один мальчик Огарев понимал, «о ком и о чем она говорила». Это событие произошло тоже до начала дружбы с Герценом<sup>14</sup>.

Таким образом, перед нами — еще одна женская фигура из окружения Огарева, думающая о декабристах иначе, чем старое реакционное дворянство, дающая им верную оценку. «Как это вошло в голову старухи — не знаю, — удивляется Огарев; — у нее из родни едва ли кто был взят». Но историческая справка может пролить дополнительный свет на этот вопрос.

«Старуха Челищева», столь ярко обрисованная на страницах «Моей исповеди», слова которой о декабристах так глубоко запали в память подростка Огарева, — это, очевидно, Мария Николаевна Челищева, урожденная Огарева, вдова генерал-лейтенанта Александра Ивановича Челищева<sup>15</sup>. Родство с Огаревыми легко объясняет и ее близкое знакомство с бабушкой Огарева. Осведомленность «старухи Челищевой» о декабристах также вполне понятна: Александр Александрович Челищев, зарегистрированный в «Алфавите» декабристов как член Союза Благоденствия, — по родовым данным ее родной сын<sup>16</sup>. Декабрист Челищев — участник Отечественной войны 1812 года, сражался под Малоярославцем, а в следующем году участвовал в боях под Бунцлау и в трехдневной битве под Лейпцигом. Как и многие другие члены Союза Благоденствия, Челищев не подвергся аресту. Но он замечен в истории организации декабристов: по свидетельству Е. Оболенского, Челищев принадлежал к активной управе Союза Благоденствия, возникшей в лейб-гвардии Егерском полку; уже после ликвидации Союза он был замечан в известной «норовской истории», протесте офицеров лейб-гвардии Егерского полка против оскорбительного обращения с ними вел. князя Николая Павловича — будущего императора Николая. Челищев был в числе протестантов и, видимо, в связи с «норовской историей», был переведен из гвардии в армию. Вероятно, оценка декабристов как «истинных приверженцев отечества» исходила именно от него, — он сам так думал и убедил в этом свою старую мать. Заметим, что лучший друг Радищева Петр Иванович Челищев, упомянутый в «Путешествии из Петербурга в Москву» (под инициалом Ч.), также принадлежит к этому роду Челищевых.



К описанному разговору, поразившему Огарева, добавим еще разговоры о тех арестованных декабристах, которые были известны в семье. Огарев упоминает «рассказы Анны Егоровны о Якубовиче» и многое другое. «Кроме имени Рылеева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись, вследствие близости Елизаветы Евгеньевны с нашим домом и Анной Егоровной». Учитель Аллер рассказывал Огареву, что Владимир Одоевский, двоюродный брат декабриста, «держит наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут».

Нет сомнения, что Огарев, как и Герцен, мог сказать о себе: казнь декабристов «окончательно разбудила ребяческий сон моей души» (XII, 54).

Таким образом, еще до того, как завязалась дружба с Герценом — и как раз непосредственно перед ее началом — подросток Огарев уже задумывался над деятельностью декабристов. Он, действительно, был «готов» для дружбы: развитие друзей шло в одном направлении; накопленные впечатления им необходимо было обсудить. Идейное развитие Герцена и Огарева совершалось на почве русского революционного движения, современного той поре, когда сознание их пробуждалось.

Необходимо отметить и то немаловажное обстоятельство, что Огарев, в силу описанных выше фактов, очевидно, знал о декабристах много больше, чем Герцен. При встрече он мог сообщить Герцену немало нового — о Кашкиных и Оболенском, о Рылееве, передать ему «рассказы Анны Егоровны о Якубовиче», рассказать о старухе Челищевой и об «истинных приверженцах отечества».

Если вспомнить, что речь идет о двенадцатилетнем подростке, можно с удивлением отметить, что развитие его было чрезвычайно ранним и очень богатым: «...таким образом мое нравственное воспитание действительно началось: любовь к стихам под влиянием Николая Веревкина, любовь к запрещенным стихам, т. е. к гражданской свободе, под влиянием Левина; и еще более под влиянием Анны Егоровны и Волкова — и страстное чувство дружбы в детском союзе с Федором Вевекиным. Все задатки были положены, оставалось только сближение с тобой».

Развитие подростка Герцена и подростка Огарева еще до встречи шло в одном направлении. «Путь наш был один», — справедливо пишет Огарев в «Моей исповеди». «Раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе; пусть же моя исповедь будет для твоего „Былого и дум“ дополнением до двух прямых».

Другой вывод, — несомненное наличие самостоятельного характера в становлении сознания Огарева еще до встречи с Герценом. Не юный Герцен — развитой и самостоятельный — разбудил «спавшего» мальчика Огарева, который еще ни над чем не думал. Нет, сознание подростка Огарева уже до этой встречи шло своим путем, и при встрече будущие друзья могли уже поделиться продуманным почти как равные, хотя Герцен был на полтора года старше Огарева и, как свидетельствует Огарев, успел прочитать больше. Герцен уже и прочел «Contrat social» Руссо, — Огарев еще не читал его. Кое в чем ему пришлось догонять друга. Но «ненпечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны», — пишет Герцен об Огареве в «Былом и думах». «Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились» (XII, 72). Можно ли сомневаться в том, что они говорили уже тогда о востании 14 декабря и о декабристах, как об «истинных приверженцах отечества»?

«Моя исповедь» Огарева в сопоставлении с «Былым и думами» Герцена позволяет установить новые существенные штрихи первой настоящей дружеской встречи Герцена и Огарева, а также дополнительно осветить обстоятельства их сближения. Дружба завязалась не с самой первой встречи, не с «первого взгляда». «Сближались мы туго, — вспоминает об этом Герцен, — он был молчалив, задумчив; я резв, но боялся его тормозить» (XII, 71). Объяснение этой медленности сближения мы находим в «Моей исповеди»: «Встреча моя с тобой, Герцен, была в самый разгар моей дружбы с Веревкиными. От этого я с тобой сближался гораздо туже и дольше, чем бы естественно следовало. С какой серьезностью двенадцатилетний или тринадцатилетний мальчик отнесился к дружбе, видно из слов Огарева: «Меня тянуло к тебе; самые разговоры наши больше отвечали на все во мне зарождавшиеся запросы, чем разговоры

с Веревкиными; но сближение с тобою казалось мне какой-то изменою *той дружбе*, и я колебался»<sup>17</sup>.

«Моя исповедь» вносит некоторые новые штрихи и в наши представления о знаменитой клятве на Воробьевых горах, позволяет несколько уточнить ее датировку и выяснить ее «предисторию».

Первые встречи Герцена и Огарева, как указывалось, еще не повели к сближению. Настоящая дружба началась с одной февральской встречи 1826 года. В то утро, когда умерла бабушка Огарева, его привели к Герцену: хлопоты по устройству похорон и мрачное настроение в доме заставили взрослых увести ребенка из дому на целый день, тем более, что комната мальчика выходила прямо в зал, где поставили гроб, и ребенка надо было предохранить от тяжелых впечатлений. Огарева и привели к Яковлевым, где он целый день провел с Герценом. Тут начался серьезный разговор — о ненапечатанных стихах Пушкина и Рыльева, о Шиллере, об освобождении «от тирана». Подростки думали и судили обо всем этом одинаково, и Герцен дает в «Былом и думах» формулу, звучащую вполне «по-взрослому»: «у него сердце так же билось, как у меня; он так же отчалил от угрюмого консервативного берега» (XII, 72). Страсть к чтению, как пишет Огарев, после сближения с Герценом «начинает удваиваться». В те часы, когда происходил этот первый откровенный и важный разговор, в Петропавловской крепости шли допросы декабристов. Ежедневно заседавший Следственный комитет еще был далек от конца своей работы: именно в феврале 1826 г. только и вырыли агенты следствия из земли «Русскую правду» Пестеля.

С этой — первой настоящей — февральской встречи начала складываться между подростками подлинная дружба. Уже переговорив обо многом и многое совместно обдумав, юные друзья узнали, летом того же года, в июле, страшную весть, как громом поразившую Москву, — весть о казни декабристов. Казнь произошла в Петербурге 13 июля 1826 г., а 19-го в Москве, в Кремле, был отслужен торжественный молебен «за избавление от крамолы, угрожавшей бедствием всему российскому государству» Молебен служил митрополит Филарет в присутствии императорской семьи (Николая еще не было, — он был в Петербурге и должен был приехать в Москву к коронации). В этот день и дал Герцен свою первую политическую клятву. Он пишет о ней такими словами: «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее — сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля<...> Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронem, с этим алтарем, с этими пушками» (VIII, 225).

Николай короновался 22 августа 1826 г. Огарев пишет в «Моей исповеди» о «коронации *ненавистного* человека» (подчеркнуто мною. — М. Н.). Следовательно, к моменту коронации и он и Герцен уже уяснили себе свое отношение к Николаю.

Клятва на Воробьевых горах произошла *после* всех описанных событий. Отсюда следует, что давшие клятву подростки прошли все же довольно длительный и сложный для их возраста путь умственного развития ранее, чем решили дать клятву. Датировка клятвы 1825 годом, данная М. К. Лемке, совершенно неправильна и лишает ее значительной доли смысла. Действительно, летом 1825 г., еще до восстания декабристов, о какой «избранной нами борьбе» могли говорить два мальчика? Но *после* восстания и казни декабристов, *после* кремлевского молебствия, когда царское правительство «благодарило бога за убийства», после того как уяснился смысл 14 декабря и юное, недавно пробудившееся, сознание стало на *сторону* декабристов, — после этого оказываются вполне понятными слова Герцена: «...мы <...> присягнули, в виду всей Москвы, *пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу*» (XII, 74; выделено мною. — М. Н.). Ведь ясно, что сначала надо было «избрать борьбу», определить ее характер, а уж потом присягать ей, поклясться отдать борьбе свою жизнь. Вот этот процесс мыслительной работы, который привел к избранию цели, и совершался перед клятвой на Воробьевых горах. Клятва была *подготовлена* протекшим развитием про-

будившегося сознания — и значительным свидетельством об этой протекшей работе является «Моя исповедь» Огарева.

Когда же произошла клятва на Воробьевых горах?

В «Былом и думах», в конце IV главы «Ник и Воробьевы горы», стоит пометка Герцена: «Писано в 1853 году». В самом тексте главы после описания клятвы на Воробьевых горах Герцен замечает: «через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее». Отсюда следует, что клятва на Воробьевых горах относится к 1827 г. К той же датировке приходим мы, опираясь на посвящение Огареву, предпосланное «Былому и думах»: «Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!» (XII, 8<sup>18</sup>). Поскольку посвящение Огареву датировано 1860 г., — клятва на Воробьевых горах должна быть отнесена к 1827 г. Следовательно, в момент клятвы Герцену уже шел шестнадцатый год, а Огареву немного нехватало до четырнадцати<sup>19</sup>.

Эта датировка, однако, противоречит прямому и точному указанию, данному самим Герценом в письме к Н. А. Захарьиной (письмо из Вятки от 25 августа 1836 г.): «И как торжественна была минута, когда мы, юноши, дети, обняли друг друга, узнав, как близки наши души! Это было в 1826 г. на Воробьевых горах. Солнце освещало всю Москву, вся Москва смотрела на нас. О, как радостно билось мое сердце» (I, 318). Выбор между двумя указанными датами труден, но, может быть, все же надо предпочесть 1827 г. как указанный *дважды* и как фигурирующий в тексте, проверенном обоими друзьями (предисловие к «Былому и думах» писалось в 1860 г., когда Огарев уже был в Лондоне).

В «Моей исповеди» не дано подробного описания клятвы на Воробьевых горах, — может быть, Огарев не хотел соперничать с дорогим для него, великолепным описанием, сделанным Герценом в «Былом и думах». Но Огарев дал в «Моей исповеди» проникновенную и глубоко искреннюю оценку событий всего периода жизни, связанного с клятвой: «Хорошо было это время первого развития, Герцен! Может, я слишком долго останавливаюсь на нем, но ведь тебе это не скучно, а мне несказанно весело! Когда я вдумываюсь в него — мне будто становится так же легко дышать, как тогда, дышать во всю молодую свежую грудь — чистым весенним воздухом. А тут подошел день и прогулки на Воробьевых горах, день сознания сильной дружбы, день сознания своей дороги... Сколько надежд, сколько сил — черт знает. Это так хорошо было, что плакать хочется...».

Огарев нарисовал шире ту же картину в отрывке из «Стихотворения в прозе», написанного им, вероятно, 25—26 марта 1839 г. под заглавием «Три мгновения. Трилогия моей жизни. (Посвящено любви и дружбе)»<sup>20</sup>.

Отрывок состоит из трех частей, цитируем первую из них:

«Солнце уходило на запад и лучами прощальными купалось в светлых водах реки величаво-спокойной. А она, извиваясь подковой, с ропотом тайным проходила у подножья крутого высокого берега. А на другой стороне вдали растянулся город огромными, и главы его храмов сверкали в огненном отблеске вечернего солнца.

На высоком берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля не надолго останется во мраке. И созвоние грядущего электрической искрой пробежало по душам их, и сердца их забились с одинакою силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: вместе идем, вместе идем!»<sup>21</sup>

Сопоставляя идейное развитие подростков в ту пору, когда они в февральские дни 1826 г. впервые сблизились на почве общих умственных запросов, со временем клятвы на Воробьевых горах в 1827 г. — мы можем, на основании «Моей исповеди», «Былого и дум» и эпистолярного материала отметить, как далеко продвинулись они вперед. Первые впечатления от восстания декабристов были еще связаны с «константиновской легендой». «...Мы чуть ли не в первый день решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*» — весело замечает Герцен в «Былом и думах», говоря о февральских встречах 1826 г. (XII, 72). В другом месте он поясняет: «Несмотря на

то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной пронизательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его» (XII, 56).

Если Герцен великолепно схватил народное происхождение «константиновской легенды», одного из проявлений наивного монархизма и политической неразвитости народа, то Огарев дал в «Моей исповеди» точное объяснение причины того, почему эта легенда укоренилась на целый год в умах подростков: «Но я не за тем начал говорить о твоей маленькой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и толковали по-своему о декабристах? Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы...» (выделено мною. — М. Н.). Таким образом неправильное представление о политической идеологии претендента на престол, ошибочное представление о нем как о «человеке свободы» — вот та форма, в которой «константиновская легенда» проникла в учебную комнату Герцена и Огарева. Эта легенда настолько овладела умами подростков, что они — в пику «ненавистному Николаю» — даже «присягнули» Константину: «Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались», — вспоминает Огарев в «Моей исповеди». Даже перо, которым они подписались, хранилось у них как святыня и позже, уже юношами, они бросили это перо «не без сожаления о прошедшем детстве».

Во время коронационных торжеств 1826 г. оба подростка еще увлеклись мыслью о военной службе — красота гвардейских мундиров, военная музыка, которой полна была Москва (Огарев наизусть цел все мотивы военных маршей), торжественность военных парадов — оказали на них свое воздействие. Но вскоре созревшее сознание отвергло этот путь. Жених сестры Огарева Плаутин во время свадьбы «был одет во всем гусарском наряде, но я уже смотрел на этот наряд с негодованием; мои интересы изменились, я видел в офицерстве поддержку деспотизма — и решил не вступать в военную службу, как ни привлекателен уланский мундир».

Временем, когда миновало это увлечение женщиной, Огарев считает зиму 1826/27 года («Зима прошла для меня в усиленной внутренней работе и развеяла страсть к военчине»). Весь рассказ об увлечении «константиновской легендой» и женщиной дан Огаревым в «Моей исповеди» как повествование об этапах, *предшествовавших* клятве на Воробьевых горах и пройденных до нее.

Быстрота, с которой расширялся круг умственных интересов Огарева, кипучая работа сознания, которой были охвачены оба друга, просто поразительны. «Моя исповедь» доводит рассказ до порога университета. Мы расстаемся с Огаревым на ее страницах в то время, когда он едва достигает шестнадцати лет. И перед нами, тем не менее, раскрывается философское развитие подростка-юноши, явно отмеченное материалистическими тенденциями и серьезным философским интересом. Сейчас же после знакомства с Герценом Огарев тайком от отца читает «Contrat social» Руссо — книгу, потихоньку [полученную от друга. Он поглощает, повидимому еще до клятвы на Воробьевых горах, Монтескье — «Décadence», очевидно «Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence» и «Esprit des lois», которые «вероятно не понимал или понимал вкривь и вкось». Но что-то важное, несомненно, оставалось, оседало, откладывалось в фонд приобретенного, накопленного, откristаллизовывалось, служа формированию будущего мировоззрения. Чтение Локка и материалистические тенденции уже в те годы характеризуют, по собственному признанию Огарева, развитие его философского сознания. Споры с новым учителем-натуралистом Беляковым — преподавателем гимназии — тоже явились школой будущего мировоззрения. Любопытно, что юный Огарев отстаивал в этих спорах материалистическую тенденцию, а преподаватель вносил сомнения «супернатурализма». Огарев спорил против «врожденных идей», и споры не прекратились даже после такого увесистого аргумента, как «три тома „Des idées innées“ не помню чьего творения». Интерес к философским вопросам был так велик, что даже ночью Огарев «вставал и писал какие-то философские статьи, которые порождали бесконечные споры с Беляковым».

В это же время — в соответствии с материалистической тенденцией пробуждающегося сознания — возникают и серьезные религиозные сомнения, влекущие к атеистическим выводам. Мы читаем в «Моей исповеди» Огарева рассказ об укреплении этих настроений, замечательный, между прочим, тем, что и эта сторона сознания как-то восходит к декабристам, своеобразно связана с ними. На пасхальной заутрене в домовой церкви Обольянинова рядом с Огаревым стоял знакомый ему декабрист Васильчиков (член Северного общества): «Заутреня кончилась, Васильчиков, вздохнувши от усталости, с пренебрежением и ненавистью в голосе сказал мне: „Finita la comedia“. Я так это близко принял к сердцу, и меня так охватила атеистическая тенденция, — что я вот это помню до сих пор».

К этому же времени относится страстное увлечение математикой («я начал страстно заниматься математикой», — пишет Огарев).

Во всем этом юношеском кипении мысли, в страстной работе сознания ведущей силой были «политические тенденции». Именно они, по признанию Огарева, «становились на первый план». С этой стороны перед нами пока лишь «дети декабристов». Восприятие идей социализма еще в будущем. Мысль о народе, как решающей силе исторического движения и будущего переворота, пока еще тоже не возникла и не получила разработки. Это видно, в частности, из тираноборческих настроений и из самого характера представлений о политическом мученичестве. Идеалом был сначала Карл Моор, потом маркиз Поза. «На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнят, — вспоминает Герцен. — Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?» (XII, 76—77). В полном соответствии с этим образом стоит замечание Огарева в «Моей исповеди» о том, что в эти юные годы он хотел быть уже не военным, а дипломатом: «Мне втайне мерещилась дипломатическая карьера и заговор против Николая, по методу маркиза Бедемара, которого историю я в то время читал с поглощающей страстью». Реального «заговора маркиза Бедемара», да еще история которого была бы где-то пространно и в захватывающей форме рассказана, найти не удастся. Можно высказать лишь предположение, — не идет ли речь о заговоре реального маркиза Сенмара (Cinq-Mars)?<sup>22</sup> Этот заговор послужил канвою для романа Альфреда де Виньи, тогда — в 1826 году — только что вышедшего. В описываемое время роман был новинкой. Заметим, что в работе о Гоффмане Герцен останавливается на французской литературе эпохи Реставрации, представленной Бальзаком, Сю, Сен-Жаненом и *Альфредом де Виньи*, и дает высокую оценку этому направлению, «более глубокому», чем, например, творчество Вальтера Скотта (I, 145).

Молодая, кипучая работа, становление сознания, твердое решение идти по пути революционной борьбы и клятва на Воробьевых горах — все это и было *новым* элементом в движении, *новым* ростком в общественной жизни России после разгрома восстания декабристов. Замысел организовать свой кружок, сплотить молодые силы тех, кто работает над этими же вопросами, родился, оказывается, еще до поступления Герцена и Огарева в Московский университет и до образования университетского кружка. «Мы с тобой говорили о необходимости составить литературный круг, нечто вроде своей академии», — свидетельствует Огарев в «Моей исповеди». У Герцена в доме привести в исполнение это намерение было невозможно, и Огарев попытался поговорить со своим отцом. «Я ему объявил о проекте нашей академии. Отец рассердился, сказал, что это ведет к политическим обществам, погрозив разлучить меня с тобой». Очевидно, хотя желание друзей было изложено в самой скромной форме, отцу все же сразу борзилось в глаза нечто такое, что заставило его насторожиться, прийти к выводу, что все кончится опасным «политическим обществом», и решительно запретить создание «академии». Этот замысел — тоже новый штрих, добавляемый «Моей исповедью» Огарева к ранней истории формирования политического мировоззрения Огарева и Герцена.

«Моя исповедь» Огарева — новый ценный документ по истории русского революционного движения. Он освещает первые последекабристские годы, еще мало

изученные, и является необходимым добавлением к «Былому и думам». История первого пробуждения сознания и первых этапов в формировании мировоззрения Огарева и Герцена не может изучаться без этого документа.

### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Н. П. О г а р е в. Кавказские воды. Отрывок из моей исповеди.— «Полярная звезда», 1861, кн. 6, стр. 338—358. Н. П. О г а р е в. Избранные социально-политические и философские произведения. Под ред. Я. З. Черныяка. Госполитиздат. 1952, стр. 396.

<sup>2</sup> «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 357—359.— Дарственная надпись Герцена воспроизведена там же, стр. 359.

<sup>3</sup> Там же, стр. 357.— Выделено мною.— *М. Н.*

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, стр. 358.

<sup>6</sup> Е. М е н г д е н. Из дневника внучки.— «Русская старина», 1913, № 1, стр. 127.

<sup>7</sup> Н. Н. К а ш к и н. Родословные разведки, т. II. Под ред. Б. <sup>9</sup> Л. Модзалевского. Пг., 1913, стр. 543—544; ср. 539; Е го же. Архив Кашкиных.— «Известия русского генеалогического общества», вып. I. СПб., 1900, стр. 423. А. Б. Л о б а н о в - Р о с т о в с к и й. Русская родословная книга, т. I. СПб., 1895, стр. 255—261; Н. Н. К а ш к и н. По поводу «Воспоминаний о былом» Е. А. Сабанеевой.— «Исторический вестник», 1901, № 1); ЦГИАМ, ф. 48, ед. хр. 64 (ср. «Восстание декабристов», т. VIII, стр. 92—93, 324—325).

<sup>8</sup> «Из записок Н. С. Кашкина».— Сб. «Петрашевцы в воспоминаниях современников», составленный П. Е. Щ е г о л е в ы м. М.—Л., 1926, стр. 194—198.— Свидание декабриста с сыном-петрашевцем произошло в тюрьме 23 декабря 1849 г. (там же, стр. 198). Документы следствия по делу Н. С. Кашкина недавно опубликованы в «Деле петрашевцев», т. III. М.—Л., 1951, стр. 151—172.

<sup>9</sup> Огарев правильно сообщает и литературный псевдоним Николая Веревкина — Рахманный. Н. Веревкин значится в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. Венгерова, т. I, вып. 2 (предварительный список — Пг., 1915). Но, по данным словаря Венгерова, Н. Веревкин родился в том же 1813 году, что и Огарев. Следовательно, замечание Огарева о том, что его друг был года на четыре старше его самого, должно быть поставлено под вопрос. По данным того же словаря, Н. Веревкин (Рахманный) умер 5 апреля 1838 г., т. е. всего 25 лет от роду.

<sup>10</sup> В деле С. Трубецкого четыре раза упоминается о Левине. Особенного внимания заслуживает показание от 10 января 1826 г. Трубецкой свидетельствует: «В Тамбовской губернии, но где именно в одной <не знаю>, был Левин, о котором я показывал прежде, но о котором я совсем ничего не слышал после составления общества в Москве, когда и он в оное поступил в начале 1818 года» («Восстание декабристов», т. I, стр. 50). Ранее С. Трубецкой поместил имя Левина в обширном списке названных им членов тайного общества под рубрикой: «В 1818 году прибавились». Тут на двенадцатом месте стоит запись: «Левин, помещик тамбовский» (там же, стр. 31). О том, что Левину была вручена «Зеленая книга», см. «Восстание декабристов», т. I, стр. 85; о знакомстве Левина с декабристом М. Н. Новиковым, родственником великого просветителя XVIII века, см. там же, стр. 40.

<sup>11</sup> Ср. Г е р ц е н. Былое и думы, гл. VI (XII, 101). Тут (без упоминания фамилии) изображен И. Ф. Волков. Запольский как мы узнаем из «Моей исповеди», был учителем русской словесности.

<sup>12</sup> «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 358. Ср. Г е р ц е н. Былое и думы, гл. «Ник и Воробьевы горы».

<sup>13</sup> Подчеркнуто мною, как и во всех последующих не оговоренных случаях.

<sup>14</sup> Бабушка Огарева умерла в феврале 1825 г. Огарев в «Моей исповеди» подтверждает, что встретился с Герценом в день смерти своей бабушки, и даже ставит вопрос о том, не могло ли это свидание быть первым. «Я не помню, в первый ли раз мы встретились в день смерти моей бабушки или *немного прежде*» (подчеркнуто мною.— *М. Н.*). Отсюда следует сделать вывод, что предположение, будто мальчики познакомились уже в 1823 или в 1824 г., сомнительно. Бабушка Огарева умерла *после* восстания декабристов. Значит, знаменитая клятва друзей на Воробьевых горах никак не может быть отнесена к 1825 г., как это ошибочно делает М. К. Лемке в своей хронологической канве жизни Герцена. Ясно, что эта клятва могла быть произнесена лишь после сближения друзей, то есть *после первого* откровенного разговора, положившего начало дружбе. Этот разговор и произошел в феврале 1826 г.

<sup>15</sup> Мария Николаевна О г а р е в а (род. 12 июня 1756 — ум. 20 октября 1842) обвенчалась с Александром Ивановичем Челищевым в Тобольске 2 сентября 1778 г. Она была дочерью генерал-майора Николая Гавриловича Огарева. Муж ее, Александр Иванович Челищев, был (с 1797) главным начальником артиллерийского департамента военной коллегии, в чине генерал-лейтенанта (с 1798). М. Н. Чели-

щева овдовела в 1821 г. К моменту, описанному Огаревым в «Моей исповеди» (т. е. к концу 1825 — началу 1826 г.), ей было уже 70 лет. Ее сын, Александр Александрович Челищев, причастный к движению декабристов, род. в 1797 г. После восстания он довольно скоро вышел в отставку (в 1827) в чине майора. В 1833 году женился на дочери Алексея Михайловича Пушкина, Наталии Алексеевне. См. «Восстание декабристов», т. I, стр. 239, 252, 308, 316. Н. А. Ч е л и щ е в. Сборник материалов для истории рода Челищевых. СПб., 1893, стр. 265—270, 285—286; ср. П. Д о л г о р у к о в. Российская родословная книга, т. IV. СПб., 1857, стр. 131; «История лейб-гвардии егерского полка», стр. 74, 75. О «иноворской истории» данные в кн.: Щ е р б а т о в. Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич, его жизнь и деятельность, т. I. СПб., 1888, стр. 74, 101, 362—364. М. В. Н е ч к и н а. Грибоедов и декабристы, изд. 2 М.—Л., 1951, стр. 150—151 и 269—270.

<sup>16</sup> «Восстание декабристов», ч. VIII («Алфавит декабристов»), стр. 418 (указатель).

<sup>17</sup> Подчеркнуто Огаревым.

<sup>18</sup> Герцен родился 25 марта 1812 г., Огарев — 24 ноября 1813 г. Обе даты даны по старому стилю.

Нужно отметить, что возраст свой во время клятвы на Воробьевых горах и Герцен и Огарев определяют по-разному и не вполне точно. В том же посвящении к «Былому и думам» Герцен пишет: «Одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела» (XII, 8). Огарев же пишет так: «Иногда мне кажутся смешны эти 15-летние герои, но в эту минуту я чувствую, что они были прекрасны» (ср. там же, стр. 177). Отсюда следует, что Герцен и Огарев высчитывали свой возраст во время клятвы на Воробьевых горах приблизительно; особенно ясно это из последней цитаты, где разница возрастов Герцена и Огарева вообще не учитывается. Таким образом, датировать клятву на Воробьевых горах, исходя из определения возраста, нельзя. Другое дело — определение количества лет, протекших со времени клятвы, так сказать прямое определение ее юбилея, связанное с точной фиксацией протекшего времени, — основываться на таком определении гораздо надежнее: для того чтобы летом 1860 г. сказать, что клятва на Воробьевых горах была дана *«тридцать три года тому назад»* и подчеркнуть указанную дату курсивом, конечно, надо было твердо знать отправную дату, то есть 1827 г. Для того чтобы в 1853 г. сказать, что клятва была дана *«двадцать шесть лет»* тому назад (там же, 74), опять-таки надо было совершенно точно знать отправную дату — и опять при расчете мы получаем тот же 1827 г. Отсюда ясно, что при определении даты клятвы на Воробьевых горах надо преимущественно опираться именно на эти данные.

Возраст же Герцена и Огарева в момент принесения клятвы определяется так: поскольку клятва была принесена в конце лета 1827 г. (после 19 июля), Герцену в это время было 15 лет и 4—5 месяцев, а Огареву — 13 лет и 8—9 месяцев.

Вместе с тем обе даты клятвы на Воробьевых горах, распространенные в нашей литературе, — и 1825 г. и 1828 — надо признать неточными. Совершенно ошибочна дата — 1825 г., закрепленная в «Канве биографии А. И. Герцена», составленной Лемке (XXII). Как указывалось выше, предположение, что клятва была произнесена еще до восстания декабристов, лишает ее политического смысла и превращает (как это, кстати, и сказано в «Канве биографии») в клятву дружбы и только («Вместе с Огаревым дал обет идти всю жизнь друг с другом», — отмечает Лемке, — вот и все.— XXII, 192). Другой датировкой, распространенной в литературе, является 1828 г. Эта дата фигурирует в издании «Былого и дум» 1932 г. (т. I, стр. 65) также без каких бы то ни было мотивировок, — ее также необходимо признать неточной.

<sup>19</sup> Возможно, что неправильная датировка клятвы на Воробьевых горах возникла у Лемке на основе одной фразы, содержащейся в герценовском отрывке «Посвящено сестре Ольге» (I, 110—113; ср. XXII, 192). Об одном из позднейших посещений Воробьевых гор, где Герцен и Огарев побывали в память о своей отроческой клятве, в отрывке сказано: «Немного прошло времени после того — какие-нибудь 8 лет...». Предположительно датирова отрывок «сестре Ольге» 1833 г., Лемке вычел восемь из тридцати трех и, оперируя этой предположительной датой, получил 1825 г., который (уже не предположительно!) вставил в хронологическую «канву» жизни Герцена. Содержания же прочих ссылок, приведенных им же и противоречащих вычисленной дате, Лемке почему-то вообще не учел.

<sup>20</sup> «Русская мысль», 1902, № 11, стр. 146.

<sup>21</sup> В статье Огарева «Памяти Герцена» читается: «Еще мальчишками (в 1827 или 1828 году?) Герцен и пишущий эти строки „присягнули друг другу — на Воробьевых горах, в виду Москвы — пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу“. — „Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной...“ — говорит Герцен. — Могла бы показаться и очень ребяческой, прибавляю я, если б целая жизнь Герцена не доказала горячего, неутомимого, неуклонного участия и постоянной работы в этой борьбе...» (цит. по книге: Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., 1952, стр. 797).

<sup>22</sup> Маркиз Анри Куаффье де Рюзе *Сен-Мар* или *Сен-Марс* (Cinq-Mars, 1620—1642) — сын маршала Франции маркиза Эффиа; организовал заговор против герцога Ришелье. Заговор был открыт, и его руководитель казнен.

## МОЯ ИСПОВЕДЬ

## Глава 1

## ДО ЗНАКОМСТВА С ТОБОЮ

Со страхом и трепетом, Герцен, приступаю я к собственной биографии. «К чему она?..» — долго спрашивал я сам себя. Разве для того, чтобы избавить Анненкова от труда собирать документы и в смутных случаях делать \* догадки, пожалуй и невпопад? Но нет! Я ее пишу не с тем, чтобы собрать о самом себе материалы для потомства; даже не с тем, чтобы поместить в нее материалы для биографии лиц, дружных и не дружных, замечательных и не замечательных, с которыми я сходиллся в жизни; даже не с тем, чтобы представить картину нам современного мира. Я пишу, потому что я хочу исповеди; это мое совершенно личное дело. Только не ошибайся — это будет не христианская исповедь, которая есть покаяние. Нам мудрено исповедываться только для покаяния; для этого надо бы чувство покаяния, ответа перед каким-то судьей ставить выше всего \*\*. Но \*\*\* наше покаяние — это понимание. Понимание — наша прелесть и наша кара. Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не иным; в чем состояло его физиолого-патологическое развитие; из каких данных, внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться. Понимаешь ты, что для этого нужна огромная искренность, совсем не меньше, чем для покаяния? Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине, нигде нельзя испугаться перед словом: *стыдно!* Мысль и страсть, здоровье и болезнь — всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику — не мою, а на ту логику природы, необходимости, которую древние называют *fatum* и которая для наблюдающего, для понимающего есть \*\*\*\* процесс жизни. Моя исповедь должна быть отрывком из \*\*\*\*\* физиологической патологии человеческой \*\*\*\*\* личности.

Я родился от родителей вероятно крепкого сложения. Если моя мать умерла рано, это, кажется, от какой-то случайной болезни. На портрете у нее \*\*\*\*\* лицо свежее, но кроткое до выражения грусти. Говорят, она была бесконечно добра. Мой отец был, без сомнения, крепкого сложения; удар его хватил в избытке сил, и он, пробыв в параличе 13 лет, не пошел. Может, этой наследственной крепости организма я обязан, что вынес свою собственную жизнь до пятого десятка, не одряхлев. Петербургу, или Северу, я обязан тем, что родился золотушный. Думали, что я умру вскоре, тем более, что я был недоносок. Говорят, моя мамушка — Прасковья Алексевна \*\*\*\*\* , которую называли мамушкой оттого, что это чином выше нянюшки, — спасла меня, вопреки мнению ученого сословия \*\*\*\*\* ; я думаю, меня спасла наследственная крепость организма, одолевшая болезнь.

\* Далее зачеркнуто: предположения, часто

\*\* Далее зачеркнуто: на свете.

\*\*\* Далее зачеркнуто: для нас выше всего не покаяние

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: знание

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: патологической физиологии

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: жизни.

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: вид

\*\*\*\*\* Я родился 24 ноября ст. ст. 1813 года.— *Примеч. Огарева.*

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Вот я и стал потом жить.



# Моя исповедь.

Глава 1. До знакомства с матерью.

Со страхом и тупетом, <sup>Терпимо,</sup> ~~просто~~  
прислушиваясь к собственному биографическому  
к слову она?.. ~~слова~~ должно изречь в себе и  
самой себе. Разве это того, чтобы изречь  
Викторова отсюда собрать документы  
и вступить в архив  
и доставить <sup>догадка</sup> <sup>кофеин?</sup> ~~слова~~ ее вперед?  
Но нет! Я ее пишу не о матери, чтобы  
собрать о самой себе материала  
для помощи; даже не о матери, чтобы  
помогти в ее материале для био-  
графии иных других и не других,  
за исключением или не исключением,  
с которыми я сводила в Лондон; даже  
не о матери, чтобы представить картину  
нам современного мира. Я пишу, потому  
что я хочу исповедь; это мое совершенно  
личное дело. Чтобы не ошибайся. — это

АВТОГРАФ «МОЕЙ ИСПОВЕДИ» ОГАРЕВА, 1860—1862 гг.

Глава первая

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Что\* именно во мне материнского — не могу сказать. Мать умерла — мне было полтора года; я о ней ничего не знаю. Те, которые мне про нее говорили, могли только сказать о доброжелательстве в светских отношениях, о хорошем обращении с людьми и т. п., но ни о складе ее ума, ни о страстности или нежности сердца, ни о слабости или твердости характера ничего не могли сказать, потому что все были люди пошлые, исключая ее единственного друга — Лизаветы Евгеньевны Кашкиной\*\*, которая мне говорила только, как много она любила мою мать; затем, считая меня еще слишком ребенком, ничего больше не рассказывала. Кашкина умерла, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать. Я упоминаю о ней, потому что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря.

На отца я ужасно похож лицом, и даже все родинки на теле у меня на тех же местах, как у него. Это замечание, может, слишком ничтожно, а могла бы наука задуматься посерьезнее перед наследственностью не только породы, но индивидуальной организации. Наука подметила наследственность и много помогла в усовершенствовании конских заводов, но в понимании <человека?> не сделала ни шагу.

Я потому настаиваю на моем сходстве с отцом, что я в жизни развил его слабые стороны до уродливости. Я потому настаиваю на серьезном изучении физиологической наследственности, что природа — пуще Иеговы — карает не только в седьмом поколении, но гораздо дальше. Как скоро народ дождался до поколения с высшей степенью силы, организмами начинают передаваться в наследство только слабые стороны предков, и эти слабые стороны развиваются до народного распада. Я не говорю об одной мускульной системе, но о нервной, о мозговой.

Отец мой был неглуп, очень добр, ленив, любитель прекрасного пола, но и тут соблюдая умеренность, которая как-то у него смешивалась с уважением светских приличий. Несмотря на мягкость, он был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении. Он нам говорил «ты», мы ему говорили «вы». Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно, не из хитрости, не из видов, а как-то религиозно, точно священнодействовали ради какой-то безусловной истины. Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжело-весная скука, а жизнь развивалась украдкой. Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность. Отец мой любил меня\*\*\* искренне, и я его тоже; но он не простил бы мне слова искреннего, и я молчал и скрывался. У отца моего не было потребности высказаться, у меня выросла действительная скрытность.

Детство мое лет до семи я едва помню, как сквозь сон. Мамушка, нянюшка, дядька — всё это одно за другим исчезло, не оставив во мне даже следа любви\*\*\*\*. Только Аншенский дом и сад с трехлетнего возраста я никогда не забывал. Помню, что меня тогда водили на ленточке: я, благодаря золотухе, не мог ходить до четырех лет.

Но всему детству у меня примешано воспоминание болезни и слабости. Когда мне было лет семь, мы жили в Москве на\*\*\*\*\* Малой Никитской, в доме Белкина, толстейшего из всех полицеймейстеров, которого я любил

\* Далее зачеркнуто: я унаследовал

\*\* Далее зачеркнуто: которая была ее другом, но мало со мной говорила.

\*\*\* Далее зачеркнуто: до безумия

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Помню

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Большой

за то, что у него был мундир и два казака за ним ездили. Но этому пристрастию к военному делу у меня суждено было погибнуть. Иные страсти развивались у семилетнего ребенка. Хилость и нервность организма заставляли меня искать, как бы приютиться под чье-нибудь крыло и чтоб кто-нибудь меня любил и я бы кого любил как-то особенно. Любил я мою бабушку, мать моего отца, которая жила с нами в доме, но я ее боялся; она была высокая, кривая, большая и важная старуха и строгая, не думая быть строгой. Любил я и другую бабушку, Баскакову, мать моей матери; ее я не боялся; она была важна, но не со мной, я был ее любимец; ее ласка была мне глубоко драгоценна. Но это все было не то, чего хотелось. У сестры бабушки Баскаковой — Олениной вместе с ее дочерью воспитывалась барышня — Пашенька. Девочкам было лет за пятнадцать. Пашенька была красавица. Я в нее влюбился. Влюбился платонически, как немецкий студент теологии. Это все знали, все смеялись, я краснел и продолжал, так сказать с общего позволения, быть влюбленным. Но и это не всё. Было другое чувство, это уже без позволения. У нас в доме жила гувернантка, немка — Федосья Христьяновна Ortlieb, высокая, красивая женщина. Она меня очень любила и ласкала, она меня целовала, целовала врасплох и рассказывала мне про свою любовь к какому-то графу (которого она сама нарисовала на картинке в виде аркадского пастушка \*, несмотря на то, что граф был казак). У меня явилась похоть \*\*, что я тщательно скрывал и от самой Федосьи Христьяновны, и от всего дома, совершенно не понимая, что это такое. Итак семи лет я разом любил двух женщин, платонически и демонически, с той страстностью, которая заставляла меня тосковать и плакать, и хотелось чего-то \*\*\* непонятного. Это благополучное начало слишком сильно подействовало на организм, чтобы остаться без развития. Этот дуализм любви шел у меня через всю жизнь, проводя разом крайность очень милого, а может и пошлого романтизма с крайностью \*\*\*\* дико-пошлого цинизма \*\*\*\*\*; я думаю, что я оба направления довел до художественности.

В это время мы на лето опять уезжали в Акшено. Мы ехали на своих; 18 лошадей и человек 30 прислуги. Бабушка, отец, сестра, компаньонка бабушки, Федосья Христьяновна, я и серый попугай составляли аристократию. Мы ехали дней 20. Я помню Муромский лес, где все женщины боялись разбойников, а мой дядька (Булатов) рассказывал мне сказку про Илью Муромца; помню какую-то холодную и дымную избу, где мы ночевали и где бабушка сердилась; помню бабушкину знакомую купчиху, которой показало, что наш попугай сказал ей: купчиха дура, — и она так обиделась, что ее насилу успокоили. Больше ничего не помню. Акшено я узнал с восторгом; садик в саду status in stato \*\*\*\*\*, который назывался моим и где я копался в земле, и картину — продавца уток работы \*\*\*\*\* крепостного живописца; только комнаты мне показались меньше, чем прежде. Это такое физиологическое наблюдение над отношением человеческого роста, объема к окружающему: когда я приехал в Акшено юношей, мне комнаты показались еще меньше. В Акшено Федосья Христьяновна продолжала меня целовать и учила на фортепьяно. Акшено мне еще более врезалось в память. Осенью мы возвратились таким же поездом в Москву; но с этих пор Акшено было для меня местом романтической привязанности, не меньше моей религиозной любви к

\* Далее зачеркнуто: и себя в виде пастушки

\*\* Далее зачеркнуто: которую семь лет

\*\*\* Далее зачеркнуто: для ребенка

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: довольно

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: но в обоих направлениях

\*\*\*\*\* государство в государстве (лат.).

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: нашего

умершей матери \*. Почему у меня и теперь сохранилось то и другое? Не знаю. Матери я никогда не знал, а Акшено все же не так красиво и не настолько я жил в нем, чтобы так любить его. Стало мозг не выпотел, не испарил, не выработал из себя вон детского впечатления. После этого и подумай о теории обновления тела посредством уничтожения старого мяса и выделявания нового — питанием — через известные сроки.

Все детство я провел между женщинами, почти заключенный в комнатах, едва выходя на свежий воздух. Меня лечили этим домашним заключением и, разумеется, расслабили мускулы и развили нервность. Я помню, что я даже любил, когда меня женщины брали на руки, это возбуждало во мне сладострастное чувство. А бабушка была окружена женщинами всех возрастов, начиная от злобствующей компаньонки Надежды Семеновны, очень некрасивой пожилой дэвы, несчастно влюбленной в моего отца, до маленькой Аришки, служившей на побегушках, — их было, по крайней мере, дюжина, и детское большое воображение невольно\*\* находилось в напряженном состоянии. Ни единого сверстника не было около; редко появлялись два-три знакомых мальчика, но я их больше дичился, чем любил. Петруша Яковлев, которого часто возили ко мне, не привлекал меня; выросши, мы с ним никогда не встречались, не искали друг друга; Александр Кек, которого ты знал, который утонул, также не оставил мне воспоминаний. Еще привозили какого-то мальчика, с которым мы, играя, поссорились за то, кому быть барином и кому лакеем; каждому хотелось быть лакеем. Этого — я и имени не помню. По воскресеньям приезжал к нам из пансиона мой двоюродный брат Александр Колокольцов\*\*\*, малый лет 15. Его приезда я боялся, он вечно ломал мои игрушки, которыми я очень дорожил. Из мужского пола единственный человек, мне близкий, был мой дядька Иван Михайлович Булатов (брат знаменитого Степана Михалыча). Булатов, сообразуясь с наставлениями моего отца, старался занимать меня чем-нибудь в комнате. Всю зиму я почти не выходил из нее и кашлял; чтоб перейти залу или гостиную, мне надевали теплый сертук и галстух. В моей же комнате большей частью находились и мамушка Прасковья Алексевна в чепчике, вязавшая чулок и ворчавшая без надобности, и нянюшка Марфа Ивановна, повязанная платком, иногда выпившая. Говорят, что меня совсем маленького мыли губкой со спиртом и что я нанюхивался ею допьяна; с тех пор от меня пахнет водкой — это влияние нянюшки. Семи лет и позже я не пропускал случая за большими обедами, которые давал мой отец, отвеживать всех подаваемых вин, особенно когда ничье внимание не было на меня обращено.

Но во время оно, естественно, я больше всех любил Булатова. Он меня выучил читать и писать, он сказывал мне сказки, он помогал мне, играя в игрушки, фантазировать из них целые истории. Я пристрастился к чтению, к романтическим сказкам и к собственным фантазиям вероятно вследствие сидячей жизни\*\*\*\*. Летом, в очень хорошую погоду, Булатов водил меня играть на пустырь, который мне казался каким-то чудеснейшим лугом, или в сад к попу, или к коновалу; все это не более 200 шагов от дому. Да, виноват, лучший приятель в детстве, летом, был Голестенов, живший против нашего дома; у Голестеновых был сад, довольно большой, и Булатов водил меня туда играть с маленьким, но очень толстым Голестеновым. Куда девался толстый приятель моего детства — не знаю; но

\* Далее зачеркнуто: которой я не знал.

\*\* Далее зачеркнуто: было всегда

\*\*\* Убит в конце 30-тых годов своими мужиками за жестокое обращение.—  
Примеч. Огарева.

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Таким образом все нервное развивалось за счет мускульной жизни.

помню, что, несмотря на частые свидания, мы друг к другу особой привязанности не имели, может и оттого, что он был года 4 старше. Все сверстники детства прошли, как тени, без малейшего влияния на меня. Зимой я даже так свыкся с моей безвыходной комнатой, что мне одному, т. е. с Булатовым, было лучше. Кроме сказок, он настраивал мою фантазию религиозно, и я иногда молился до слез; он говорил мне о грехе быть вольтерянцем — этого я не понимал, но это возбуждало во мне любопытство. Было что-то страдальческое в моем детстве—возбужденность неясного



СТАРОЕ АКШЕНО. ПАРК

Фотография В. Чернобаева, 1861—1862 гг.

Исторический музей, Москва

вопроса, напряженность фантазии во все стороны от религиозности и платонической любви <...> и всё это при постоянной \* хворости и слабости тела. Из таких болезненных данных \*\* невозможно было выйти сильному и деятельному человеку <...> Ничего на первом плане, вся жизнь пройдет в порывах по всем направлениям.

Но вот и Федосью Христьяновну оставили, потому будто, что она была не довольно учена, чтоб воспитывать мою сестру, и Белкинский дом оставили; отец купил дом Бантыш-Каменского у Никитских ворот. Страшно жаль мне было моей красивой немки; немного жаль и Белкинского дома, и пустыря, заменявшего мне лучшие луга в мире, и в детстве моем произошел переворот. В новом доме я как-то стал еще уединеннее, Булатов очутился на втором плане, реже был со мною. Мамушки уже не было в живых, нянюшка только навещала меня изредка, но больше покачиваясь.

\* Далее зачеркнуто: болезненности

\*\* Далее зачеркнуто: мудроно

Главную роль в моей жизни заняла новая гувернантка моей сестры, M<sup>lle</sup> Noël, но совершенно иначе. Это была женщина, или, лучше, очень зрелая девица, очень некрасивая, со всем школьным образованием французских гувернанток. Я ее уважал и начал учиться; как бы школьно ни было ее образование, но во мне возбудилась любознательность. Кроме того, мне взяли учителя русского языка и арифметики Михайлу Андреевича Сенковского. С этим господином я ничего не делал; не помню, хорошо ли я учился по-русски, но помню, что арифметики я совершенно не понимал, даже тогда, когда он принялся со мной за алгебру. Мое внимание сосредоточилось на преподавании истории M<sup>lle</sup> Noël. Она, как водится, учила меня греческой и римской истории — по каким-то плохим учебникам и по картинкам. Как всё это ни было плохо, я из этого страстно понял героическую тенденцию, и когда M<sup>lle</sup> Noël велела мне написать какое-нибудь сочинение, я написал письмо к мечтаемому другу, которого у меня не было, и уговаривал его жертвовать собою отечеству, подобно Фемистоклу и Аристиду. M<sup>lle</sup> Noël меня расхвалила, отец мой тоже, хотя с каким-то удивлением, как будто спрашивая — откуда это тебе в голову лезет? Мне было стыдно, но, когда я остался один, я чувствовал что-то вроде вдохновения. Мне было восемь лет, и я до сих пор не могу забыть этой минуты странного счастья, первого соединения героической тенденции с авторским самолюбием.

В это время была в Москве итальянская опера, куда меня часто возили. Впечатление ее столь было сильно, что я до сих пор помню, как вчера, лица актеров, декорации, пьесы; самые мотивы помню с тех пор, а не по позднейшим занятиям музыкой. В доме у нас гостила моя двоюродная сестра Голубцова (впоследствии принцесса Гогенлоге), которая пела действительно превосходно; я начал\* слушать музыку со вниманием, но ученье под руководством M<sup>lle</sup> Noël мне не давалось; я скучал за фортепьяно. Только ухо привыкло к звукам; это было начало той несчастной страсти к музыке, которая мне осталась навек.

Остальное в этот год прошло по обычаю. Идеальную любовь к Пашеньке я перенес на Наденьку Колокольцову (впоследствии Жемчужникову), мою двоюродную сестру, которую\*\* отдали в пансион и возили к нам по воскресеньям. Эту страсть я уже стал скрывать, боясь насмешек <...>

Этот год любви к истории и к Наденьке прошел очень быстро, и с концом его наступил новый переворот в моем детстве. Мне был десятый год, и внутренно я больше принадлежал отрочеству, чем детству. M<sup>lle</sup> Noël прогнали, не знаю за что. Сдается мне, что моему отцу показалось, будто она за ним волочится, или он разыграл с ней роль agent-provocateur\*\*\* и, увидев, что крепость не неприступна, счел это за преступление со стороны воспитательницы детей и удалил ее. Впрочем, преступление было не с ее стороны; что мудреного увлечься мечтой — сделаться, быть может, супругою человека с пятью тысячами душ! Как бы то ни было — отъезд M<sup>lle</sup> Noël произвел в моей жизни новую обстановку и действительный перелом. Поехала моя бедная M<sup>lle</sup> Noël воспитывать красавицу княжну (Абамелек, впоследствии Баратынскую) и, недовоспитав ее, сама вышла замуж за M<sup>r</sup> Ducas, так что мой новый учитель французского языка M<sup>r</sup> Allart написал мне в школьной тетради для какого-то грамматического примера: M<sup>lle</sup> Noël avait de grandes prétentions pourtant elle s'est contentée d'un ducat\*\*\*\*, — чуть ли не отсюда идет моя страсть к каламбурам!

\* Далее зачеркнуто: любить

\*\* Далее зачеркнуто: привезли

\*\*\* провокатора (франц.).

\*\*\*\* У мадмуазель Нозль были большие претензии, однако она удовлетворялась одним дукатом (игра слов: фамилия Ducas и слово ducat — дукат — произносятся по-французски одинаково).

Остановлюсь на минуту перед этим, в самом деле новым периодом моей жизни. Какие элементы я вносил в него? Раздраженность фантазии, зачатки мышления, слабость и вялость тела, ненормальную возбужденность нерв, привычку к внутреннему одиночеству и скрытность. Физическая неповоротливость могла быть следствием болезни и комнатной гигиены; физическая лень двигаться была частью следствием того же, а частью наследственная от отца, которого вседвижение состояло в постоянном медленном хождении по зале. Слабость тела в периоде отрочества прошла под влиянием иной гигиены, но лень и вялость остались органическими недостатками, потому что были наследственны. Вялый\* мускульный фонд мог не мешать сильной внутренней работе, но отнимал способность к той деятельности, которая влияет на окружающее; я мог привязываться к существам, более сильным, но не захватывать власти. Замкнутая работа в самом себе как раз согласовалась с скрытностью, выросшей от удушливой домашней атмосферы. Еще шаг — и скрытность должна была перейти в ложь и трусость. Все обуславливало характер слабый; наследственная мягкость отцовского и кротость материнского характера должны были развиться в уродливые размеры.

Первый период моего отрочества начался с появлением в доме Анны Егоровны Horsetter и вскоре потом Зоненберга, которого ты уже так хорошо знаешь и описал, что\*\* здесь его характеристика — дело лишнее. Анна Егоровна <...> Ты ее, я думаю, помнишь. Чрезвычайно худая, но недурная и весьма неглупая и очень добрая англичанка. Когда она явилась у нас в доме, ей еще не было 30 лет. У ней были обожатели и хорошие люди, которые ее уважали за благородство мыслей и характера; почему она тогда не вышла замуж? Не знаю <...> Она обратилась ко мне с материнской лаской, с материнской любовью к ребенку, который возбуждал ее участие кротостью и нежностью нрава и каким-то раздумьем, в котором пробивалась мысль <...>

Анна Егоровна имела на меня иное, глубокое и изящно-человеческое влияние. Жизнь ее прошла в круге знакомства Кашкиных. Лизавета Евгеньевна была ее лучшим другом. Я думаю, через эту дружбу Ан(на) Ег(оровна) была исполнена уважения к моей матери, как к какому-то ангельскому существу, сотканному из любви и кротости. Чуть ли не из ее полуслов о моей матери я почерпнул тот религиоз(ный) пиетет <?> к ее памяти, от которого я никогда не мог отделаться да и не хочется: он хорош.

Лизавета Евгеньевна, высокая, плотная женщина, т. е. девица 40 лет, хотел я сказать, — имела на английскую кротость Анны Егоровны всеобладающее влияние, а Лиз(авета) Ев(геньевна) все свои мнения и речи почерпала в кругу декабристов, к которым тогда принадлежал ее племянник, Сергей Николаевич Кашкин. Следственно, всё движение декабристов отзывалось в образе мыслей Анны Ег(оровны) и через нее отзывалось во мне, невольно, смутно, но отзывалось. Ей я обязан, если не пониманием, то первым чувством человеческого и гражданского благородства. Ей я обязан первым впечатлением поэзии; мне было лет 10, когда она учила меня читать по Байрону <...> Да! я с любовью вспоминаю о ней и с глубоким сожалением, что во время юности самое знакомство с нею я забросил с какой-то холодной беспечностью. Эта беспечность, вероятно, ее глубоко оскорбила; а во мне она произошла совсем ненамеренно, просто было некогда от разгульной жизни.

В научном отношении Анн(а) Ег(оровна), конечно, не могла принести мне пользы. Рожденная в России, она едва могла мне порядочно передать

\* Далее зачеркнуто: органический

\*\* Далее зачеркнуто: мне говорить было бы совсем

английский язык, от этого я его и забыл легко. Воспитанная в благородном пансионе у эмигрантки Гибель, она преподавала мне историю по какому-то уродливым тетрадкам. Но, кроме изучения английского языка по глупым сказкам, с одной стороны, и по Байрону — с другой, — она, следуя духу времени, занималась русской литературой. Она переписала для меня, когда мне уже было лет 12, всего «Войнаровского» своей рукой. Затерял я этот экземпляр где-то в деревне. Признаюсь, я теперь дал бы за него дорожку, чем за самую редчайшую библиографическую редкость. Сама Ан(на) Ег(оровна) при всей инстинктивной поэтичности дальше своего школьного образования в науке не шла. Одному она училась, кроме того, что изучала в пансионе, — это латинскому языку. Это занятие она скрывала от посторонней наשמешки; но все же оно было каким-то патологическим уклонением мозга. Я не помню, чтобы она читала латинские книги, но прилежно твердила склонения, спряжения и т. д. Мне кажется, что ей нравились звуки латинского языка — не более. Или это было то же отношение к учености, как у Петрушки к грамоте? О Патология!.. Как здоров ни будь мозг, а все же свихнет в ничем не объяснимую сторону. И эта женщина, инстинктивно поэтичная, без цели училась по латыни!

Почти через год после появления Ан(ны)Ег(оровны) явился Карл Иванович. Лицо его, конечно, не расположило меня в его пользу. Всё, что могло быть, — я привык к его лицу. Но как он мне ни был полезен, как он ни старался мне угождать, я его внутренне ненавидел. За что? Да за то, что он меня заставлял писать по-немецки, когда это было не его дело, за то, что он меня заставлял писать букву эм — m, а не m, как меня учила M<sup>lle</sup> Ortlieb и немецкие учителя\*, ходившие и во время царствования Карла Ивановича, потому что Карл Иванович, в сущности, немецкой грамоты не знал. За то я его не любил, что он не знал грамоты; за то, что у него был рыжий парик; за то, что он был ряб, как тёрка; за то, что он мне появлялся галстух и свистал в лицо, тогда как у него из рота воняло <...> За то я его не любил, что он мне мешал читать хорошие вещи, когда мне хотелось, говоря, что это час приготовить урок такой-то, — и сколько я ему ни толкуй, что он у меня готов или что я успею его приготовить, он все на своем, до тех пор, пока я ему говорил, что пойду к отцу объясниться; тогда, как истинный подлец, он меня оставлял в покое <...>

Кроме его менторства, у меня были учителя, которых я всех ненавидел, — какой-то глухой старик Wetterschrandt, математик Бер и M<sup>r</sup> Allart. M<sup>r</sup> Allart я ненавидел больше других. Он считал меня глупым, написал мне в альбом: «Longtemps, longtemps il s'avance, mais il arrivera»\*\*, а я его считал дураком. Сестрой моей он был доволен, и она считала его за превосходного учителя; а я, как ни был мал, удивлялся, как отец не видит, что он осёл, как Ан(на)Ег(оровна) не видит, что он осёл, и только когда мне уже было лет 12, я, несмотря на всю робость, доказал отцу, что M<sup>r</sup> Allart не учитель, а дурак. Как скоро это было доказано, я поспешил подставить огромному и толстому Аллару изломанный стул так, что он тотчас же упал на задницу, подбородком на стол, и с четверть часа, сидя на полу, рассуждал, каким образом он мог упасть. Он пожаловался отцу; отец смеялся и отказал ему. А с моей стороны это была подлость. Если бы я подставил ему стул прежде, чем доказал отцу, что он дурак, — это было бы хорошо; а это было подло, это была храбрость трусости, т. е. наглость. Но я этим не ограничился: изломанный стул я поставил математику Бери, молодому человеку, который забрался со мной в алгебру и геометрию, совсем не замечая, что я не понимаю даже арифметики. Я не знаю науки легче начальной математики, и надо быть пошлым дураком, чтоб не

\* Далее зачеркнуто: бывшие

\*\* «Медленно, медленно он подвигается, но <цели> достигнет» (франц.).



уметь объяснить ее даже ребенку, или чтоб не видеть, понимает ученик или нет; а он не видел.

Когда стул с сломанной ножкой стал падать, Бер схватился рукой под сиденье и удивлялся, что и он и стул упали, несмотря на то, что он поддерживал сиденье рукой. И ему отказали. Я торжествовал. Но тут же чувствительно вошел в мою душу (употребляю это слово за неимением другого) новый элемент: злоба. Зоненберг, Бер, Allart etc. вызвали и развили во мне злобу. Не смейся, Герцен, не говори, что я вру; нет! я и теперь иногда чувствую \* огромную злобу. Если это чувство, о котором я искренно и сознательно говорю, не бросалось в глаза другим, даже тебе, то это потому, что оно являлось не как единый властный деятель, а как противодействие пошлой мягкости моего характера вообще. Не будь способности к этой злобе, вызванной обыкновенно после великого долготерпения, мои тряпичные свойства совсем бы меня уничтожили. Злоба сколько-нибудь уравновешивала их, от этого она вам была не видна, а я ее слишком хорошо и горько знаю. Прежде появления Зоненберга, Аллара и consortе\*\* у меня этого чувства не было. Каким образом возбуждается в организме чувство злобы? О Кабанис! Немного мы узнали после твоей книги! Говорят, желчь; но это такое же прибежище незнания, как 4 стихии древних для объяснения мироздания. Я видел людей с разлитием желчи (ictère\*\*\*), совершенно беззлыхных. Но, говорят, когда печень страдает... Да, я зол, когда у меня надглазный нерв болит без всякого видимого соотношения с печенью. Всякая жгучая боль возбуждает злобу; это протест человека против предполагаемой целесообразной разумности природы или провидения. Объясните мне, как, каким образом, где отзывается неприятное впечатление — так, что кровь бросается в голову от бешенства, если мускулы \*\*\*\* упруги; а если мускулы дряблы, как у меня, то втихомолку оседает накипь ненавистей. Возьмите разные температуры, но объясните мне впечатление и ответ на него, звук и отзвук, процесс мне этот объясните — ученые невежды, которые не поставили его перед собой даже как Веттершрандта задачу, как искомый  $x$ ! На отставку Веттершрандта, Аллара и Бера всего больше имел влияния учитель русской словесности — Запольский, которого не помню кто рекомендовал взамен Сенковскому. Этого ты уже знаешь. Высокая фигура с широкодлинным и глупым подбородком и маленькими карими глазами, выразившими недопонятие чего-то. Почему я его любил сначала — необъяснимо. Он был положительно, филистренно ограниченный человек. Он мне задавал темы для сочинений на слова вроде следующих: «Застава, пыль, Петровское, услужливый Карл Иванович, чай» и пр. А я его любил. Раз он как-то не мог приехать к нам обедать в день моего рожденья, — я расплакался, и он приехал. А через год после того я его возненавидел за тупоумие.

Мне было лет двенадцать. На место Бера Запольский рекомендовал Волкова. Этого ты также знаешь; оба, и Запольский и Волков, перешли от меня к тебе через Зоненберга. Волков\*\*\*\*\* преподавал умно начальную математику, несмотря на свою ограниченность. Но я года два при нем учился отвратительно, ненавидя математику в память Сенковского и Бера. Через два года по складу мысли я дошел до страсти к математике, и через 4 года Иван Федорыч благородно отказался от меня, потому что я пошел дальше его. Эта толстая, неуклюжая и даже не\*\*\*\*\* талантливая личность была очень благородна. Воздадим ему честь от души, Герцен! — Попад на

\* Далее зачеркнуто: яростную

\*\* сотоварищей (франц.).

\*\*\* желтуха (франц.).

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: сильны

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: знал

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: умная

плодотворную почву, уже не без зачатков, он не столько выучил нас математике, сколько развил благородную, либеральную мысль. Помянем старика дружелюбно и с уважением. Теперь его, вероятно, уже нет на свете; но любовью к человеческой свободе мы ему много обязаны \*. Да! Помянем его \*\* как благородного человека.

В то же время, помнится, также Запольский рекомендовал в немецкие учителя — Аллера. Но об этом дураке, которого ты не знал и который бессознательно имел на меня самое огромное и прекрасное влияние, я стану говорить после.

Перейду к другому предмету. Несмотря на <...> продолжавшиеся романтические влюбленности в разных кузин — Наденек, Катенек и пр., — мне чего-то недоставало. Зоненберг помог этому недостатку, конечно сам не зная, что он во мне развивает. Гигиену жизни Зоненберг совершенно изменил; галстука и ватшного сертука мне не надевал. Зоненберг водил меня гулять по целым часам; особенно когда отец купил Никольское, и я там целый день был на воздухе, — мой организм осилил золотушное начало <...> я окреп <...> В Москве, Зоненберг водил меня в Кремлевский сад. Тут я познакомился с Веревкиными, детьми коменданта, вследствие знакомства наших менторов, т. е. моего Зоненберга и их — Шульца, еще более глупого и совершенно грубого немца. Чего мне недоставало — я нашел — нашел дружбу. Страстно я привязался сперва к старшему — Николаю (впоследствии известному в литературе под именем Рахманного). Он был лет 14, т. е. почти 4 года старше меня. Он уже писал стихи, какие-то подражания думам Рылеева. И я стал писать стихи. Что такое было, не помню. Помню, что когда Запольский, с согласия моего отца, заставлял меня, не знаю почему, писать стихи, я ничего не мог написать, кроме бессмыслицы без ритма, и плакал над ними. А потихоньку писал какие-то элегии, которые тщательно скрывал ото всех; все они были посвящены Николаю Веревкину (в моей мысли, то есть — я и ему об них не говорил). Но Николай Веревкин обращался со мной, как юноша с ребенком — свысока, это меня, наконец, обидело, и я всю страсть дружбы перенес на его брата Федора. Федор был почти такое же кроткое существо, как и я. И он меня полюбил. До сих пор помню, как мы шли по Воробьевым горам через какой-то мостик и поддерживали друг друга, объясняясь в взаимной нежности. Я потому помню, что это была одна из самых горячих и светлых минут в моем детстве. Дружба эта была основана ни на чем, кроме \*\*\* потребности дружбы. И знаешь ли, что я скажу при этом?.. Помимо научных, политических и умственных симпатий, дружба — так же, как и любовь к женщине, — явление нервно-физиологическое, состоящее под условием движения ведомых и неведомых в науке элементов. В то же время ездил к нам по воскресеньям из пансиона (Болдырева) Федор Левин, сын соседа и приятеля моего отца; он был года три старше меня, конечно не глухой Веревкиных, а я к нему не привязался, дружбы между нами не было. А и Федор Левин имел на мою жизнь влияние: он каждое воскресенье привозил из пансиона тетради тогдашних запрещенных стихов Пушкина, Рылеева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя, и не только я — Зоненберг\*\*\*\* переписывал! Конечно, все это потихоньку от отца. Но таким образом мое нравственное воспитание действительно началось: любовь к стихам под влиянием Николая Веревкина, любовь к запрещенным стихам, т. е. к гражданской свободе, под влиянием Левина \*\*\*\*\* и еще более под влиянием Анны Егоровны и Волкова — и страстное чувство дружбы

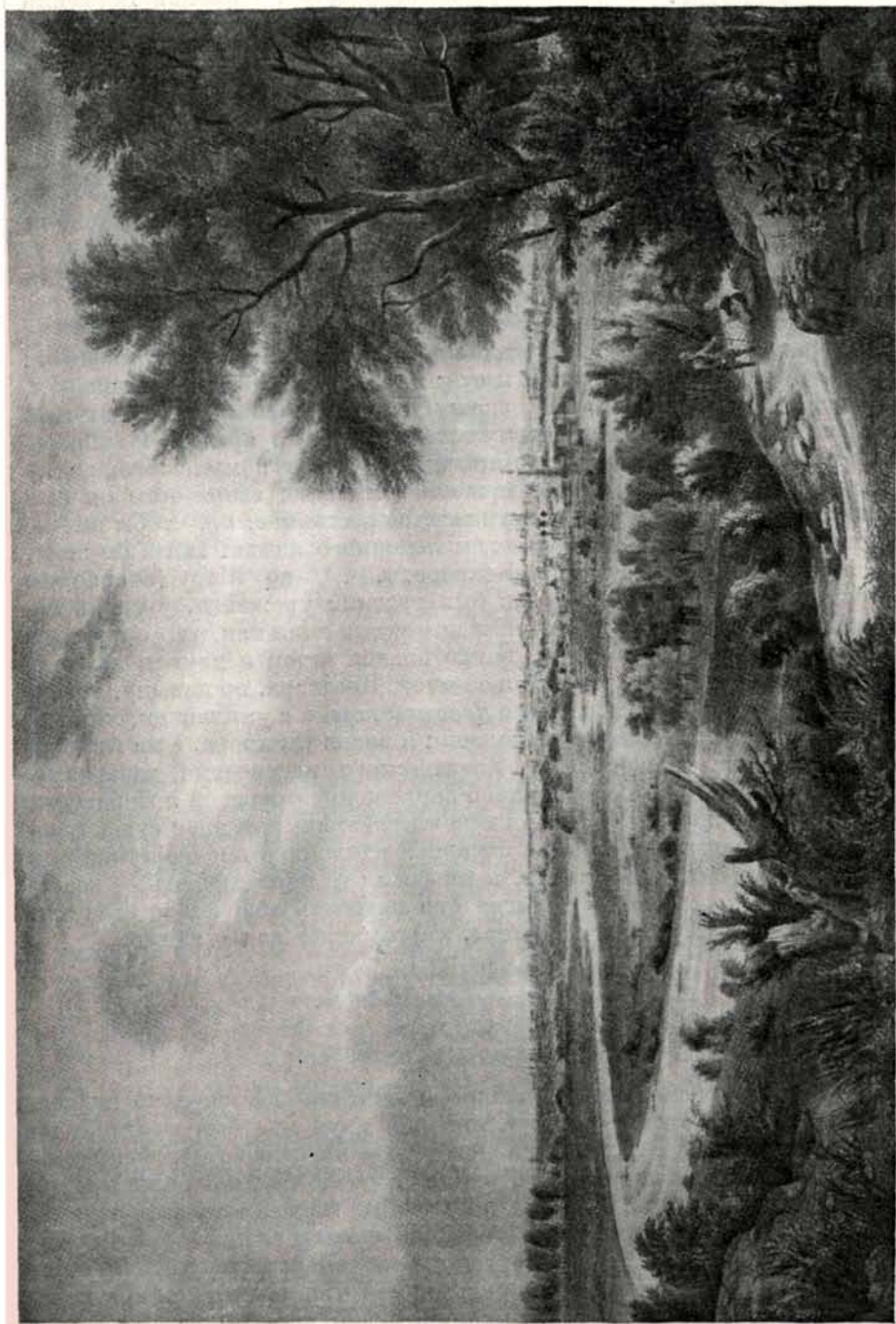
\* Далее зачеркнуто: Сохраним

\*\* Далее зачеркнуто: в нашей памяти

\*\*\* Далее зачеркнуто: жажды удовлетворить

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: для меня

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: последняя любовь, более уясненная



ВИД НА МОСКВУ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР  
Раскрашенная литография с рисунка А. Каголя, 1820-е гг.  
Литературный музей, Москва

в детском союзе с Федором Веревкиным. Все задатки были положены, оставалось только сближение с тобою.

И где они все, друзья этого первого отрочества! Николай Веревкин умер рано; где Федор Веревкин — не знаю. Меньшие братья — Михайло и Александр — убиты на дуэли. Федор Левин — едва юноша — убит в турецкую кампанию, запальчиво врубившись в неприятеля. Omnes exeunt\*.

Прежде, чем я стану говорить об Аллере, я упомяну об одном обстоятельстве, которое отрицательно подействовало на мою жизнь, оставив до сих пор неразвитыми и неудовлетворенными возникнувшие тогда стремления. После M<sup>lle</sup> Noël музыке меня учил, кажется, наш крепостной капельмейстер — Василий Иванович Немвродов, впрочем человек далеко не бездарный. Но я скучал за уроком. Вдруг взяли мне в учителя какого-то Эрнста, вскоре я перестал скучать, я стал учиться с любовью, которая переходила в страсть, я стал быстро успевать... Тут отец сказал мне, что так как я не люблю музыки и что полезнее больше учиться арифметике, то надо перестать учиться на фортепьяно. Я стоял, как ошеломленный; от привычной робости перед отцом и от стыда, что ведь сам же я говорил, что не люблю музыки, а вдруг скажу другое — я не протестовал; уроки прекратились, а страсть к музыке выросла, а средств к занятию не осталось. Это одно из самых томительных чувств в моей жизни <...>

Аллер был дурак, это не подвержено сомнению; сверх того он был ростовщик, скряга, но, несмотря на нажитое состояние, он, чтобы ничего не терять из виду, оставался учителем немецкого языка. Язык он знал, как все его знали до грамматики Беккера, т. е. \*\* по Шаду (Schade um die Sprachlehre), тем больше что он был русский уроженец, русский немец в полном смысле слова; зато он и по-русски знал так, что переводил с немецкого на русский стихами, равно владея и тем и другим языком. К делу учителя он привык. Он читал со мной Шиллера, по привычке, конечно, не по сочувствию — указывая на *красоты поэзии* с умилением, которое было ему не к лицу. Но я этого не замечал; я видел Шиллера, а не Аллера. Струна философско-гражданского поэтического настроения зазвучала. Звук ее совпадал с звуком современной запрещенной русской литературы. Я был затронут за живое. Уроки Аллера становились для меня существенной пищей. Из Тидгевой Урании я почерпал наклонность к теоретическим гаданиям; скучна она, эта Урания, я пробовал ее перечитывать — невозможно, как и Юнговы ночи; а тогда она казалась мне чем-то великим, и я, погружаясь в смутное созерцание, задумывался над стихами.

Dennoch tief verhüllt und leise  
Schreitet eine finstre Macht daher,  
Für das Ohngefähr zu weise,  
Für die Weisheit zu sehr ohngefähr\*\*\*.

Сколько я ни доискивался их философского смысла, сколько ни восхищался с Аллером этими стихами, которых звук мне был приятен, но смысла я не искал, а подготавливалось одно — потребность философского знания. Но вскоре эта потребность нашла гораздо больше пищи в философских письмах Шиллера. Шиллер для меня был всем — моей философией, моей гражданственностью, моей поэзией. Не немцам следовало бы праздновать ему столетие, а нам. До Гете я тогда не касался; почему Аллер избегал Гете, думал ли, что я мал для понимания его, или сам в нем ничего не понимал? Я думаю, и то и другое. Высокий, худой, черноволосый, с лицом

\* Все уходят (лат.).

\*\* Далее зачеркнуто: рутиною

\*\*\* «Все же под глубоким покровом неслышно подступает мрачная сила, для случайности слишком мудрая, для мудрости слишком случайная» (нем.). — Цитата из первой песни поэмы «Урания» Христсфсра-Аугуста Тидге (Tiedge, 1752—1841).

здоровым, но сухощавым и жестким, Аллер был бы славной фигурой для Гарпагона в сорок лет. Запольский рассказывал про него, что, когда он был студентом, Аллер из приличия говорил товарищам: «Приходите ко мне чайку напиться». А когда они приходили, он встречал их, не заывая к себе, у ворот — с вопросом: «Когда же ко мне-то?»

Каким образом он мне объяснял Шиллера? Каким образом он сделался главной пружиной моего вольнодумства, он, чиновник в душе, в приемах, во всем — даже в темнозеленом цвете фрака, застегнутого на 2 нижние пуговицы? Не знаю, — а ведь могут быть существа, у которых мысль с поэзией и жизнь идут как параллельные линии, никогда не встречаясь, но сосуществуя в одно время. Может, и Аллер принадлежал к таким людям. Он меня развил, но я его внутренне не любил.

Таким образом я подхожу к 2-му периоду моего отрочества. Я приношу в него совсем подготовленную канву слабостей и стремлений, немного окрепшее тело, но все же вялое, робость перед отцом, затаенную злобу, скрытность в хороших и дурных поступках, уже вызывавшую меня на немного усиленную склонность к романтической любви, сильную потребность нежной и горячей дружбы, смутные стремления к знанию, поэзии и гражданской свободе. Несмотря на темные стороны, я был подготовлен к встрече с тобою. Как ни розны наши организации, но путь наш был один; у тебя на этом пути было больше прямолинейной деятельности и мужества <...> Я шел беспечно зигзагами, около прямой линии, но все же в сторону не сворачивал. Все же, раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе; пусть же моя исповедь будет для \* твоего «Былого и дум» дополнением до двух прямых \*\*.

## Глава 2

### ОТ ЗНАКОМСТВА С ТОБОЮ

Может быть, в моем рассказе об отрочестве перепутаются случаи из окольных годов; они перепутаны в моей памяти, и я не ручаюсь за хронологическую\*\*\* верность. Знаю только, что в целости этой эпохи я не ошибусь; значение происшествий\*\*\*\* и колорит этого времени не изменится от перестановок, смежных до незначительности.

Перечитывая «Былое и думы», я не помню, в первый ли раз мы встретились в день смерти моей бабушки или немного прежде. Даже этот день, проведенный с тобою, помнится мне\*\*\*\*\* очень смутно, вероятно потому, что я был сильно\*\*\*\*\* озадачен смертью бабушки, и остальные впечатления выпотели\*\*\*\*\*. Многое соединилось, чтоб сделать для меня эту смерть поразительной. Поэтому я должен вернуться месяца за три назад. Бабушка умерла горячкой в феврале 1826 года, а я теперь вернусь к ноябрю 1825.

В ноябре умер император Александр. Первый эту весть привез к нам штальмейстер Юшков, муж моей двоюродной сестры (желчный, злобный,

\* *Далее зачеркнуто:* твоих воспоминаний

\*\* *Далее зачеркнуто:* Я охотно беру в нашей жизни вторую роль, потому что в моем организме есть минус, и я не могу идти по плюсу... Можно ли изменить что-нибудь в самом себе? Едва ли. Верность одним и тем же данным в детстве и в совершеннолетии — доказывает, что физиологическая необходимость проходит через всю жизнь, претворяя все встречное на пути в свою особенность.

\*\*\* *Далее зачеркнуто:* порядок

\*\*\*\* *Далее зачеркнуто:* в моей жизни

\*\*\*\*\* *Далее зачеркнуто:* слишком

\*\*\*\*\* *Далее зачеркнуто:* поражен

\*\*\*\*\* *Далее зачеркнуто:* Была первая болезнь и первый труп, который я видел, да и многое скопилось, важное и большое, но

сумасшедший человек и артист, скульптор животных из воску — с талантом, какого я подобного не знаю) \*. У моего отца навернулись слезы, он был встревожен. Я понимаю, что Юшков был встревожен; его судьба зависела от Александра; Александр сделал его штальмейстером — Юшков обещал ему довести конские заводы до того, что каждая лошадь будет родиться статями по данной картинке! Но мой отец, живший барином в отставке, принимавший больше участия в важной обстановке светских приличий, чем в государственных и служебных вопросах, — с чего он плакал? Любил ли он Александра? Любил ли он вообще царя из религии к власти? Не знаю. Только его тревога на меня подействовала, я тоже огорчился и плакал.

Запольский велел мне написать стихи на смерть Александра и даже потом хвалил их и показывал моему отцу; но я сам сильно был ими недоволен и искал в себе тему, на которую мог бы написать хорошие стихи. Отец велел шить мне черный фрак, потому что сын действительного статского советника и кавалера не мог не носить траур по государю. Я был очень рад черному фраку, он возбуждал во мне чувство щегольства, которое редко меня посещало, а все же посещало, и маленький червячок глупого тщеславия разве только теперь стал мне совершенно чуждым.

Бабушка тоже была встревожена; Зоненберг был сильно озабочен. Приезжавшие гости имели вид пасмурный. Многие из нашей дворни плакали. Мне было страшно: у меня толпились в голове — Александр, <18>12 год, деяния российских полководцев, которые я недавно читал \*\*, «Певец в стане русских воинов», недавнее наводнение в Петербурге, смерть Александра — все это сливалось в смутном чувстве какого-то хода судеб, в страхе перед какой-то исторической огромностью.

Я слушал разговоры больших с напряженным любопытством \*\*\*, что-то представлялось мне темной загадкой, которую надо разрешить и \*\*\*\* пойти по своей избранной дороге. Время первого разрешения загадки \*\*\*\*\* и своя дорога \*\*\*\*\* пришли вслед за вестью о смерти Александра \*\*\*\*\* с вестью о 14-м декабря.

На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их; Волков не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла \*\*\*\*\* к заговорщикам и постепенно выработывалась в их пользу. Отец мой, после первого ужаса, видимо избегал говорить об этом предмете, так что от него мало приходилось слышать даже об арестах того времени; зато как же усердно ловилось каждое слово, кем другим сказанное. Кроме имени Рыльева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись, вследствие близости Елизаветы Евгеньевны \*\*\*\*\* с нашим домом и Анной Егоровной. Да еще Аллер мне сказывал, что Владимир Одоевский, товарищ Кюхельбекера по изданию «Мнемозины», бывший его ученик, держит \*\*\*\*\* наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут \*\*\*\*\*.

Спустя месяц около, навестила бабушку старуха Челищева, которая произносила чек вместо человек. Я случайно был в гостиной. Старуха долго

\* Далее зачеркнуто: Отец мой плакал

\*\* Далее зачеркнуто: стихи Николая Веревкина и Фигнера

\*\*\* Далее зачеркнуто: и страхом

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: пойти по своей, пойти дорогой, соответствующей внутреннему запросу.

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: было близко

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: скоро забрезжила вдалеке. Эти

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: пришла

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: в пользу

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Кашкиной

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: приготовил

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: Через

толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные *приверженцы* отечества. Как это вошло в голову старухе — не знаю; у нее из родни едва ли кто был взят. Но ее слова произвели сильное впечатление на бабушку.

Вскоре после этого посещения у бабушки сделалась горячка, и она в бреду только и повторяла слова: «приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы». Меня приводили \* к больной раз или два в день. Она глядела на меня своим одним глазом и всякий раз говорила: «Да! Они настоящие приверженцы, приверженцы». Я понимал, о ком и о чем она говорила. Этих слов, ее лица и голоса я до сих пор не забыл, а тогда они меня преследовали. Мне все не верилось, что бабушка умрет, я не видал мертвых и не знал, как умирают. Но раз отец вдруг остановил меня среди залы, обнял и сказал: «Твоя бабушка умерла» и горько \*\* заплакал. Я остолбенел; я помню теперь, как будто это было вчера, как мне вдруг стало холодно, потом я начал плакать, плакать, и в ушах у меня отдавалось: «приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы...».

Бабушку положили на стол в большой зале. Из моей комнаты не было иного выхода как через залу, и мне хотелось часто проходить, чтобы взглянуть на бабушку. Ее желто-бледное лицо не пугало меня, мне хотелось на него смотреть и плакать. Вероятно поэтому отец заблагорассудил отправить меня куда-нибудь на целый день, и Зоненберг привез меня к тебе. Но, повторяю, это обстоятельство утратилось у меня из памяти. У нашего подъезда стояла толпа купцов с парчами, они громко бранились, мне показалась ужасно дика и гадка эта первая встреча с конкуренцией или, пожалуй, с родом человеческим. Но когда был вынос, и я в последний раз подошел к бабушке и поцеловал ее в холодный лоб, мне стало невыносимо горько, что-то похожее на отчаяние.

Пригодился же мой черный фрак, спитый в честь императора Александра! Но его обшили белыми плерезами, и этот наряд на себе и на других наводил на меня дущее уныние. Помню, как я шел за гробом в Донской монастырь, как можжевелник был разбросан по всей рыхло-снежной дороге от Никитских ворот до приходской церкви Вознесенья, а от нее до монастыря; как отпевали у Вознесенья и я смотрел на мою мертвую бабушку, как ей надели на голову какую-то глупую кайму с печатными образами и в руки всунули печатный лист (паспорт на тот свет) и полили ее маслом из чашки, как гроб заколотили гвоздями, и я уже не видел моей бабушки! Помню, как Доможиров в зелено-голубом казакине с саблей безумно суетился, как какой-то безумный любитель похорон, Левашев, дремая на клиросе, как я удивился, что люди, которые несли факелы, были будочники, как гроб стоял в первом отделе монастырской церкви, как монахи цели\*\*\*, как гроб опустили в землю и стали бросать песок в могилу, как я потом поехал домой \*\*\*\* с сестрой и не помню кем еще — и мне было пусто и тяжело...

Должно быть, впечатление первой смерти, как всего первого, сильнее — после привыкаешь. Таким образом, смерть моей другой бабушки, которая умерла через год, я почти не помню, а любил я ее гораздо больше. То есть я не помню похорон, не помню, как стояло мертвое тело, и только по слуху знаю, что хоронили ее тоже в Донском монастыре, и знаю, что я был на похоронах. Но зато я помню одно\*\*\*\*\* обстоятельство во время ее болезни. Она велела меня позвать и оставить с ней одною. Она взяла меня за руку

\* Далее зачеркнуто: в комнату

\*\* Далее зачеркнуто: зарыдал.

\*\*\* Далее зачеркнуто: и кадили

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: с другой бабушкой

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: проществие

и долго, тихо смотрела мне в глаза: «Я умру, — сказала она, — не плачь, это уж так надо. Я тебя больше всех любила и тебе совершенно верю (мне было 14 лет!). Скажи отцу мою последнюю волю, я хочу, чтобы он дал отпускную Степану Булатову \*. Ты скажи ему это, я от тебя этого требую». Я обещался. Она нагнула меня к себе и тихо поцеловала, но не плакала. Я старался не плакать, я благоговел перед спокойствием умирающей.

После этого я не помню, как и скоро ли она умерла. Помню только, что вскоре я исполнил ее поручение и сказал отцу ее волю. Почему он ее не исполнил, я не понимаю. Какая корысть ему была в этом человеке, который был плут и меня после предал — не понимаю. Я напоминал отцу еще раз после, во время моей ссылки; он не успел. Уже я отпустил Булатова на волю тотчас после смерти отца. Но об этом позже.

Не помню, прежде ли смерти первой бабушки или вскоре после, провозили через Москву тело Александра I; но помню, что я смотрел на процессию с галереи или подмостков, устроенных на дворе Обольяниновского дома для почетных зрителей, между которыми считался и мой отец с семейством. Долго мы ждали траурного поезда, и, наконец, торжественная процессия дефилировала и показалась мне совсем не торжественной, так ее исказили люди, участвовавшие в ней. Все в ней было расположено, как следует, по чинам, кто из господ дворян шел впереди, кто сзади и кто за кем — я помню печатную роспись. Катафалк — парчевой параллелограмм на позолоченных столбах с белыми страусовыми перьями наверху не имел ничего поражающего печальным, траурным великолепием.

Господа дворяне (народ был только зрителем вдоль улицы, я не помню\*\* народная толпа за гробом), господа дворяне, шедшие спереди и сзади и несшие какие-то регалии, были все больше или меньше выпивши, с холоду, как после говорили. Поэтому говор доходил до гама, и я помню, что как я ни был молод, а уже во мне оскорбилось чувство простого человеческого приличия. Помню в процессии безобразную глупую фигуру нашего общего знакомого ростовщика\*\*\* Василья Абрамовича Насакина, который тоже был выпивши. Все проходящие здоровались с знакомыми на Обольяниновской галерее, громко, с какой-то кабацкой наглостью. Словом, я из зрелища не вынес ни малейшего уважения ни к царскому погребению, ни к публичке, его сопровождавшей. Идея царского величия, идея важности важных людей и вещей в окружающем мире — сильно поколебалась в \*\*\*\* отроческом уме. Стало и тут не было настоящей скорби, не было важной утраты; тут было что-то равнодушное, около чего люди собрались с неуважением, что-то вроде забавы. С чего же недавно все плакали и тревожились? Мне было дико, я оставался в раздумье и недоумении \*\*\*\*\*.

\* Далее зачеркнуто: который мне хорошо служил

\*\* Далее зачеркнуто: провожающей

\*\*\* Далее зачеркнуто: полковника

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: детское

\*\*\*\*\* Кстати, мимоходом, об Обольянинове. Петр Крисанфович Обольянинов, высокий сутуловатый старик, смотревший на всех грубо, с требованием достойного почтения, 20 или 30 лет губернский предводитель московского дворянства, временщик, разбойник и палач павловского царствования, вечно в коричневом фраке со звездами... я его боялся и чувствовал к нему робкое уважение, которое невольно перенимал у моего отца. С чего мой отец уважал его?

Мой отец был добрый человек, а это был злодей, воображавший себя государственным дельцом. С чего самый независимый из стариков — старый Тучков ездил к нему? Что могло быть между ними общего? Оттого что человек был четыре года одним из гнусных любимцев сумасшедшего императора — московское дворянство считало долгом 30 лет толпиться в его гостиной и передней? Не только подобострастие перед человеком, который был бы теперь в силе, а подобострастие перед человеком, потому что он когда-то был в силе — каким же холопством разрасталось благородное российское дворянство! И сколько гнилой крови перешло из поколения в поколение от московского боярства до вершины дворянского блеска при Екатерине и от этой вершины под гору до наших времен. Да! надо было прийти двенадцатому году, повпыпу-



Но перейдем от мертвых к молодой возникающей жизни.

Встреча моя с тобой, Герцен, была в самый разгар моей дружбы с Веревкиными. От этого я с тобой сближался гораздо туже и дольше, чем бы естественно следовало. Меня тянуло к тебе; самые разговоры наши больше отвечали на все во мне зарождавшиеся запросы, чем разговоры с Веревкиными; но сближение с тобою казалось мне какой-то изменою *той дружбе*, и я колебался. Я совершенно был в положении человека, который разлюбил одну женщину, и жаль ему ее бросать, а он уже полюбил другую, и мучительно, со страхом и угрызениями совести отдается новой



ДОМ В БОЛЬШОМ ВЛАСЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ. ЗДЭСЬ В ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ЖИЛ ГЕРЦЕН

Об этом доме говорит Огарев в стихотворении «Старый дом», включенном Герценом в «Былое и думы»

Фотография 1912 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

страсти. Много я выстрадал внутреннего укора, прежде чем решился назвать тебя другом.

Решение мое пришло очень смешно. Запольский, который был уже и твоим учителем, дал и тебе и мне читать Карамзина. Нам очень понравилась: «Цветок на гроб моего Агатона». Ты мне сказал — не то, чтоб очень развязно: «Вам бы надо завести своего Агатона». Я не понял, и думал, что

стить гниль и поколебать в обычай сложившееся дворянское холопство. Видно и двенадцатого года было мало; от этого нашему высшему сословию так трудно сближаться с народом, который может быть запуганным рабом, но у которого в жилах добровольно-холопской крови нет. Холопам нужна нисходящая лестница холопства; от этого, еще больше чем из выгод, большинство дворянства не может добровольно отказаться от рабовладения; и только меньшинство болезненно, мучительно стремится перейти в народ, меньшинство, и теперь такое же малое, как оно было во время 14 декабря. О история! — *Примеч. Огарева.*

ты \* советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было. Ты вадохотал. «Нет, вы меня не поняли, — сказал ты, — я говорю о друге».

Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупости и не отвечал. Долго после я думал о «моем Агафоне», думал, что тебе хочется, чтоб я так назвал тебя; меня мучила робость и неодолимое влечение дать тебе это имя, которое, пожалуй, и забавно, но тогда вовсе не казалось смешным. Моя нерешительность сделала то, что дружба страстная, деятельная, ищущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу, установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу *ты*. С Веревкиными я стал видаться все реже и реже и, наконец, совсем расстался; они мне надоели, вместе с играми в разбойники и солдаты на Кремлевской стене, где мне, впрочем, бывало так хорошо ранним летним утром в виду пол-Москвы чувствовать себя каким-то военным человеком. Во время бно Николай Веревкин писал думу о Фигнере, двенадцатый год крепко отзывался во мне, и я с какой-то гордостью ходил по воскресеньям с детьми и стариком Веревкиным на обычный комендантский развод на Кремлевской площади. О история!

Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлениями предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще своей формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой — натянутые теории по крупным данным — и обе науки, которые должны составлять одно целое, хромают вразбивку.

С нашего сближения моя страсть к чтению начинает удваиваться. Я увидел, что ты читал гораздо больше и мне надо догнать тебя. Мое учение шло школьно, обычным путем. Грамматики всех языков, история по пошлым учебникам; география, которую сперва мне преподавала Анна Егоровна по Кряжеву, сама не зная ни географии, ни ее значения, а потом Запольский по своей книжечке. Я\*\* учился сначала только потому, что она мне преподавала, знал уроки в срочный час и потом забывал их; география Запольского не прибавила интересу\*\*\*. А ты как-то воспитывался свободно, у тебя водились книги, о которых мне не грезилось. Ты читал уже «Contrat social». Я у тебя его взял и читал потихоньку от отца. Новая пища уму представилась. Диапазон жизни повысился, и все соединялось к тому, чтоб настраивать его выше и выше. Шиллер, русская литература декабристов, их гибель, рассказы Анны Егоровны о Якубовиче, коронация уже ненавистного императора — и всю эту эпоху мы с тобой переживали вместе, постоянно подталкивая друг друга в развитии и стремлении к одной и той же, великой\*\*\*\*, для нас еще неясной цели.

У тебя было две комнатки, окнами в противоположные стороны. В одной мы сидели по вечерам\*\*\*\*\*. Прямо в окно светила звезда, которую мы назвали нашею; я на нее глядел\*\*\*\*\* с детской мистической любовью. В другой комнатке был столик, на котором ты писал, приготовлял уроки. Бушо я уже не застал у тебя; Ивана Евдокимовича и рыжевласого попа помню. Но Запольский послужил нам союзным звеном\*\*\*\*\*. Нам приходилось готовить почти те же уроки и читать одни и те же книги.

\* Далее зачеркнуто: говоришь

\*\* Далее зачеркнуто: географии

\*\*\* Далее зачеркнуто: Действительное воспитание вертелось около Шиллера и немецкой литературы, кроме Гете.

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: хотя и

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: мы отыскивали

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: и встречал ее

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: человеком

Помню я, как ты писал стихи, по приказанию Запольского, и взял \* мифологическую тему. Помню даже один стих:

И Феста Дня проклиная,

над которым мы оба смеялись. В то же время я написал стихи на прощанье с другом. Стихи были гладки, Запольский торжествовал, а я усиленно принялся писать элегии, которые никому, даже тебе, не показывал, и склонность к скрытности с тем вместе развивалась.

Но я не за тем начал говорить о твоей маленькой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и толковали по-своему о декабристах. Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы, и тебе пришла мысль, что нам надо присягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались. Перо, которым мы подписались, хранилось у кого-то из нас, как святыня. Долго хранилось это перо; мне помнится, что через несколько лет, уже юношами, мы его бросили не без сожаления о прошедшем детстве.

Коронация ненавистного человека меня сильно охватила военщиной. Разные родственники в мундирах толпились у бабушки Баскаковой и долею у нас в доме. Меня возили на парады. Артиллерийский мундир меня привлекал, но верх надо всем взяли уланы. Я грезил себя в уланском мундире, похожим на ротмистра Петухова, которого я видел издали.

А когда коронация кончилась и полки стали расходиться и я присутствовал при всех отправлениях в поход, блеск мундиров, туча красивых лошадей, военная музыка — все это меня совсем с ума свело. Я пел наизусть все марши и жаждал быть офицером. Около того же времени меня стали учить верховой езде, и я\*\* только думал о лошадях и эполетах. Военное настроение пронеслось быстро, но не бесследно; гораздо позже, середь полного совершеннолетия, во все трудные минуты жизни меня охватывала тоска по военной жизни и грезился в ней выход из личной скорби и даже средство политического движения.

Если очень всмотреться в этот факт, то нельзя не распознать, что в нем являлось не новое впечатление и увлечение, а интеграция прошлого, сохраненное и видоизмененное впечатление военных картин из времени коронации.

Зима\*\*\* прошла для меня в усиленной внутренней работе и развеяла страсть к военщине. Кроме твоего влияния или под твоим влиянием\*\*\*\* самодеятельность, потребность высказывать свое умственное развитие явилась у меня от очень пустого случая. Французский учитель Кюри, заступивший место Аллера, долго возился около меня, не понимая, как вынудить у меня интерес к его урокам. Читал он со мной Расина. Расин для меня не существовал возле Шиллера. Задавал он мне переводы, я их делал правильно, но лениво; задавал он мне темы для сочинений, я их исполнял крайне глупо. А между тем ему во мне что-то нравилось, и он хлопотал обо мне с любовью, которую я инстинктивно чувствовал. Раз он мне сказал: «Сочиняйте, что хотите, я не стану вам задавать темы, пишите, что вздумаете». Какая-то электрическая искра пробежала по мне. Я к каждому уроку писал, сколько успевал. Первой темой я выбрал чувство дружбы. Кюри был в восторге от двух страничек, мной написанных. Это меня подстрекнуло. Чего уже я не писал ему потом! Всякая мысль, которая приходила в голову, записывалась в тетрадку французских сочинений. От «Contrat social» я перешел к Монтескье, с увлечением читал

\* Далее зачеркнуто: какую-то

\*\* Далее зачеркнуто: полдня

\*\*\* Далее зачеркнуто: после коронации

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: у меня явилась

«*Décadence*» и «*Esprit des lois*», которые, вероятно, не понимал или понимал вкривь и вкось, и писал для Кюри статейки об английской конституции.

Запольский и тебе и мне страшно надоел. Не помню, кто у тебя заменил его. Мне Волков доставил Василия Игнатьевича Белякова, натуралиста, учителя в гимназии.

Натуралист, человек очень умный, первый выучил меня русской грамоте и так же, как Кюри, дал мне волю запруживать его моими сочинениями, но — противуречие, которое часто доводится встречать — натуралист сбил меня с толку и внес в мои материалистические тенденции (я читал Локка) супернатурализм\*. Я с Беляковым часы спорил против врожденных идей; он мне принес три тома «*Des idées innées*»\*\*, не помню чьего творения, — и я сильно поколебался. Помню вечно это время, как я ночью вставал потихоньку — Зоненберга перевели из моей спальни в темные антресоли, и я спал на свободе — вставал и писал какие-то философские статьи, которые порождали бесконечные споры с Беляковым, но между тем ставили нас в отношения чрезвычайно дружеские, и я к нему был искренне привязан. После я узнал, что он был человек довольно хитрый и корыстный, это меня сильно огорчило.

Но с этого времени не оставалось над мной ни одного влияния, которое бы перечило моим политическим тенденциям, и они становились на первый план. Беляков, если не по характеру, то по уму сочувствовал им. Волков по искреннему убеждению. Аллер, хотя и преподавал мне логику по Кизеветтеру, но по Шиллеру принужден был сочувствовать политическим тенденциям. Анна Егоровна наивно-детски разделяла со мной весь либеральный жар и\*\*\* любовь к людям 14 декабря. Ты — но об этом уже и говорить нечего. Отец мой не замечал, потому что я от него скрывался; Зоненберг не понимал, потому что был глуп. Таким образом мои поэтико-политико-философские тенденции разрастались на воле. В это же время я начал страстно заниматься математикой, и Волков стал больше и больше обращаться со мной почти как с юношей, которого он от души любил, чем как с ребенком.

Хорошо было это время первого развития, Герцен! Может, я слишком долго останавливаюсь на нем, но ведь тебе это не скучно, а мне несказанно весело! Когда я вдумываюсь в него — мне будто становится так же легко дышать, как тогда, дышать во всю молодую свежую грудь — чистым весенним воздухом. А тут подошел день и прогулки на Воробьевых горах, день сознания сильной дружбы, день сознания своей дороги... Сколько надежд, сколько сил — чёрт знает. Это так хорошо было, что плакать хочется <...>

Что-то уже я не припомню — в 1827 или <18>28 году моя сестра вышла замуж. Мои отношения к сестре были очень странны. Она лет 6 старше меня. Она мне говорила «ты», я ей говорил «вы». Я к ней имел уважение привычки, она смотрела на меня свысока, как на ребенка. Тем не менее, она мне поверяла свои бальные тайны. Я знал, кто за ней волочится, кто ей нравится. Это был единственный пункт, на котором мы сближались и который устанавливал между нами дружбу, не имевшую никаких иных корней, потому что мои интересы были ей совершенно чужды. Должность поверенного молодой девушки, которой непременно хотелось влюбиться,

\* Раз меня привезли на светлое христово воскресенье к заутрене в домовую церковь Оболянинова, это был обычай. Там возле меня стоял Васильчиков, улан, воспитаник Кюри, слегка замешанный по 14 декабря. Заутреня кончилась, Васильчиков, вздохнувши от усталости, с пренебрежением и ненавистью в голосе сказал мне: «*Finita la comedia!*» <комедия окончена (итал.)> Я так это близко принял к сердцу, и меня так охватила атеистическая тенденция, — что я вот это помню до сих пор. — *Примеч. Огарева.*

\*\* «Врожденные идеи» (франц.).

\*\*\* Далее зачеркнуто: всю преданность

«ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ»  
СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА  
В КУНЦЕВСКОМ ПАРКЕ

Фотография

Исторический музей, Москва



которая искала своего суженого и ни на ком не могла остановиться, сильно действовала на мою природную влюбчивость. Я искал идеальной любви <...> Светское искание влюбиться моей сестры принимало во мне колорит шиллеровских героев. Но предмета у меня в эту эпоху не было. Склонность к Наденьке Колокольцевой прошла, потому что и она, как моя сестра, трактовала меня свысока.

Наконец сестра поверила мне тайну, что у нее жених. Отец долго не решался выдать ее за Плаутину, набирал о нем справки. Мой двоюродный брат Григорий Дмитриевич Колокольцев, бывший лейб-гусар и однополчанин Плаутина, одобрил его, и отец согласился.

Увы! Григорий Колокольцев был тогда уже не гусаром, а жандармом. В жандармы он пошел из боязни, потому что был заподозрен участником в обществе 14 декабря и надеялся поступлением в тайную полицию стереть преследование, а между тем при случае спасать преследуемую молодежь. Я верил этой полусказке, потому что любил его. Приехав к нам в отпуск, он обращался со мной дружески и казался мне человеком затаенно либеральным. Я чуть не создал себе из него героя. Но возвращаюсь к Плаутину.

Плаутин не произвел на меня выгодного впечатления. Мне в нем что-то казалось неискренним. Впрочем, я видел, что сестра моя счастлива и более не беспокоилась. Вся кутерьма в доме, пока он был женихом, отдаляла меня от всех \* кроме Анны Егоровны <...> Я с ужасом предчувствовал, что скоро ее не будет в доме, сестре уже не нужна гувернантка, уедет моя ласковая англичанка, и я останусь в доме глубоко одинок, чужой в своей

\* Далее зачеркнуто: и сблизила

семье \*. Наконец и свадьба была справлена в домово́й церкви Обольянинова. Ненавистный Петр Крисанфович был посаженным отцом. Плаутин был одет во всем гусарском наряде, но я уже смóтrel на этот наряд с негодованием; мои интересы изменились, я видел в офицерстве поддержку деспотизма — и решил не вступать в военную службу, как ни привлечен уланский мундир.

Женившись, Плаутин поселился у нас \*\* в доме. Он, напротив того, старался увлечь меня в военную службу. Я молчал и таился от него. Ему хотелось, чтоб отец послал меня с ним в Царское село и я под его руководством поступил бы в гусары. Дело дошло до того, что раз отец позвал меня в кабинет к Плаутину и спросил, хочу ли я ехать с сестрой в Царское село и готовиться к военной службе. Я сказал, что ни за что на свете не пойду в военную службу, а только в гражданскую. Мне втайне мерещилась дипломатическая карьера и заговор против Николая\*\*\*, по методе маркиза Бедемара, которого историю я в то время читал с поглощающей страстью. Плаутин взбесился, побледнел и сказал, что что же меня слушать — я сам не знаю, чего хочу. Но мой отец обрадовался до слез; он боялся отпустить меня на убой. Это повернуло меня на большую нежность к отцу. Из этой нежности вышло забавное обстоятельство. Мы с тобой говорили о необходимости составить литературный круг, нечто вроде своей академии. Как же было скрыть такое решение, как приступить к началу такого дела без согласия и помощи отца, который так ласково показал мне, что входит в мои интересы. Я ему объявил о проекте нашей академии. Отец рассердился, сказал, что это ведет к политическим обществам, погрозив разлучить меня с тобою: Я сконфузился и притаился. Этим надолго была пресечена всякая откровенность с моей стороны и близость с отцом. Я понял, что мне дома только остается совершенствовать мою склонность к молчанию и скрытности. Я чувствовал себя чужим, мне было стыдно моего увлечения, было досадно и больно. Это была одна из моих самых тяжелых минут в тогдашней жизни.

Плаутин уехал на время в Кременчуг, ради ремонтерства. Анна Егоровна перешла гувернанткой к Пашковым. Я остался один, между отцом и Зоненбергом. У меня дома ничего не было близкого\*\*\*\*; моя жизнь была в свиданьях с тобою.

Но сестра через несколько месяцев воротилась. Их приезд\*\*\*\*\* не радовал меня. Мы все были друг другу чужие.

Сестра взяла к себе жить нашу родственницу (из небогатых) — Машеньку Наумову. Я сначала не обращал на нее внимания, она была года четыре старше меня. Одно только я любил — это ее голос. Она пела удивительно. Я заслушивался, но не сближался с ней.

В то время случилось действительно несчастье; с отцом моим был удар\*\*\*\*\*; у него отнялись рука и нога. Он долгое время лежал почти без языка. Я был перепуган, огорчен, но — странное дело — я смутно помню это время. Неужели впечатление скользнуло по мне не сильно, не врезалось мне в память. Неужели любовь к отцу была у меня больше делом внешнего долга, натянутость привычки — и только? Если между нами не было умственного сочувствия, сочувствия направления, то все же была какая-то нежность отношений. Или этого недостаточнó? Да, видно, так. Видно, привычная робость, скорее подлая, чем хорошая, и привычная привязанность

\* Далее зачеркнуто: до глубины

\*\* Далее зачеркнуто: перешел к нам

\*\*\* Далее зачеркнуто: в духе

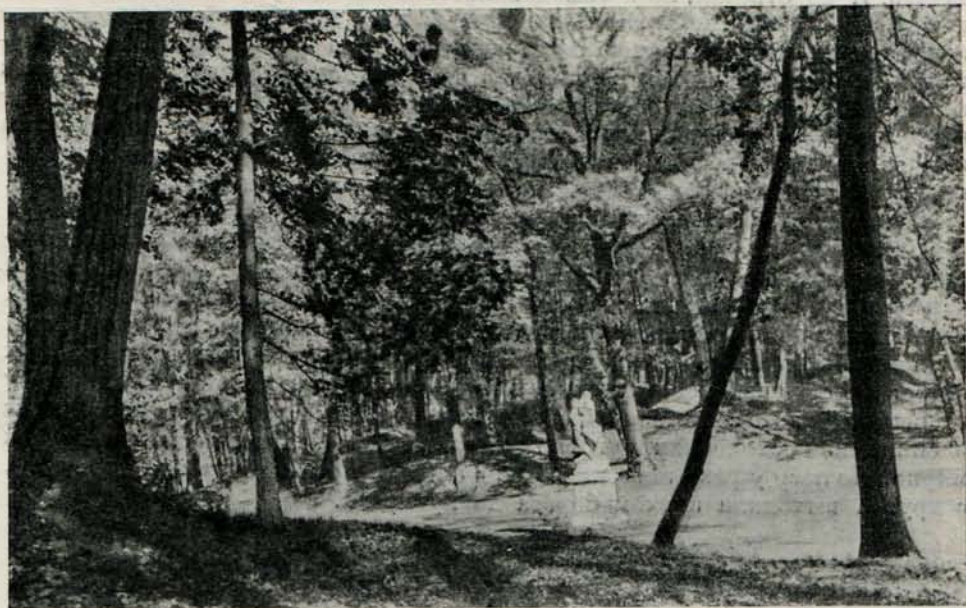
\*\*\*\* Далее зачеркнуто: ты мне оставался один

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: не принес ничего привлекающего в мое домашнее общество.

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: он остался без

не в силах создать семейного единства, и то отношение, на котором вертится все гражданское устройство, отношение отца к детям — только постоянное насильствие друг друга во имя этого гражданского устройства, во имя семьи и собственности, и составляет одну из тех призрачных связей, на которых держится историческое безумие, взаимно мешая и портя жизнь двум поколениям — отцам и детям и повторяя свою ложь в продолжении веков непрерываемой цепью. Впоследствии к чувству подлой робости и привычной нежности у меня примешалось чувство сострадания к больному отцу.

А все же старик отжил век без истинной преданности сына и, может, чувствовал это мучительно; а я провел молодость без истинного, на жизнь благословляющего влияния отца. Есть ли исключения в этом порядке



КУНЦЕВО. ПАРК

Фотография

Литературный музей, Москва

вещей? Может быть — не знаю! Республиканцу <17>89 года вероятно было так же тяжело видеть в сыне буржуа тридцатых годов, как моему отцу, шедшему путем чиновничества, тяжело было видеть в сыне революционера.

С которой бы стороны ни стояло благородство человеческое — рознь все равно существует\*. В самом физиологическом росте одного поколения и умирании другого мы не можем не видеть противоположного движения; как бы сложны ни были его данные или составные силы, все же окончательная, отвлеченная формула такого механизма сведется на то, что две противоположно движущиеся\*\* силы или, столкнувшись, ушибутся, или скользнув мимо или коснувшись, разлетятся в разные концы друг от друга\*\*\*. В самом деле — где же тут взаимность единства?

\* Далее зачеркнуто: Взглянувши на вещи по существу,

\*\* Далее зачеркнуто: предметы

\*\*\* Далее зачеркнуто: проскользнув мимо, разойдутся в разные концы. Где же тут место для единства? Как же тут в самом деле соединиться в одно направ-

В это время я помню один мерзкий поступок с моей стороны, он до того возмутителен, что врезался мне в память сильнее всей остальной обстановки. Мой отец еще лежал больной, не вставая с постели. За несколько времени до его удара меня стали посылать учиться танцевать к танцмейстеру Флагге. У него училось несколько молодых людей и барышен. Одна мне, мимоходом, очень нравилась. Отказаться от урока, несмотря на болезнз отца, мне не хотелось. В назначенный час я сказал Зоненбергу: «Отчего нам не ехать на урок?» (Зоненберг обычно ездил со мной.) Зоненберг не отклонил меня от этой бессердечной неприличности, почему — не знаю. Вдобавок я заметил, что Плаутину хотелось меня не пустить авторитетом. Следственно решено, — мы поехали. Когда мы воротились, Плаутин мне заметил, что это неприлично и что я без спросу его не должен бы ездить. Я не отвечал, но с самодовольствием посмотрел на него, чтоб он понял, что он мне не хозяин. На другой день мне было страшно стыдно перед самим собою и за мою бессердечность и за мелочность перед Плаутиным, который в данном случае был прав. Я долго терзался угрызением совести и, помнится, вовсе перестал ездить к Флагге. Я потому не мог пропустить этого случая, что подобная преданность страстям и капризам играет роль через всю мою жизнь. Отец мой понемногу оправился настолько, что с помощью двух людей ходил или, лучше, двигался по комнате.

Мы на лето поехали жить в Кунцево.

Дай опять забыть темные и мелкие стороны жизни! Дай опять вздохнуть чистым, весенним воздухом! Кунцево осталось у меня в памяти, как блаженный сон. И как же оно хорошо было в то время с своим большим обветшалым домом и садом, скорее похожим на огромный лес, чем на сад. От дома широким просеком круто спускался берег Москвы-реки, с обеих сторон просеки шел лес, густой, зеленый, свежий, заросший кустами между вековых деревьев всех разнообразных пород чернолесья. За рекой зеленела и синелась бесконечная луговая равнина. Там заходило солнце ясно и мирно. По лесу у реки шла дорожка, с одной стороны до проклятого места, с другой выходила верхом берега до Гусарева.

Тонули шелесты, и каждый звук иль шум  
В широком ропоте лесного колыханья...

Сколько студеных ключей было в темной зелени! Как хорошо было на все это смотреть пятнадцатилетнему отроку, который блаженствовал в первом действительном \* чувстве любви \*\*.

Да! я влюбился в Машеньку Наумову со всей чистотой сердца и со всем колоритом летней ночи, как оно только может быть в пятнадцать лет. Жизнь в небольшом флигеле в Кунцевском саду поневоле заставляла видеться часто. Из моей маленькой учебной комнаты мне было слышно, как она пела; я часто переставал работать и слушал. Бедной Машеньке нужна была чья-нибудь симпатия. Сестра моя была занята своим мужем и своей беременностью, она не могла быть ей подругой. Большой отец мой хлопотал о своем медленном выздоровлении, переносил болезнь мужественно и спокойно, но мог относиться только благосклонно-равнодушно к молодой родственнице. Плаутин обращался с Машенькой неприятно насмешливо, как *raguelli* \*\*\*, дожившийся до большого состояния, с бедной девушкой. Машенька невольно искала во мне развлечения, опоры, сочувствия, — почти сострадания в своей одинокой молодой жизни, уни-

ление... Разве только тот случай, когда один из движущихся предметов так силен, что, встретясь...

\* Далее зачеркнуто: сновидении

\*\* Далее зачеркнуто: в первом сновидении

\*\*\* выскочка (франц.).



женной до жалкой роли какой-то нахлебницы. Она стала мне рассказывать о своем детстве, о воспитании в Смольном монастыре, о своей любви к кому-то, кто ее холодно и плоско разлюбил. Ее доверчивость сближала нас. Помню, как раз приехал к нам ее отец, маленький, толстый, пьяненький и глуповатый старичок. Над ним обыкновенно все трунили. Даже мой отец забавлялся над ним. Плаутин обращался с ним с насмешкой, наглой до нахальства. Я видел, как Машенька страдала. Я старался отвлечь бедного старика от \* людской насмешки, которой он не понимал и занимал его, как умел, разговаривая иводя по саду подалее от других. Машенька поняла это, на другой день она просто пришла благодарить меня со слезами на глазах. С тех пор наше сближение пошло crescendo \*\*. Машенька вставала в шестом часу утра, чтоб ходить гулять со мной. Утренняя прогулка была заведена уже давно Зоненбергом и продолжалась неизменно. Конечно, Зоненберг сопутствовал нам на прогулках, конечно я его за это только пуще ненавидел; но долею мы его не замечали. Я вел ее под руку. Руки наши встречались подеешалью; близко мы прижимались друг к другу, голос дрожал. Не знаю, Зоненберг не замечал или не хотел замечать, но тогда он мне ни слова не говорил об этом. А когда по средам он уезжал в отпуск в Москву, мы с Машенькой гуляли одни. Это был блаженный день в неделе. Живо помню я\*\*\* наши утра в кунцевских рощах \*\*\*\*, свежие, росистые, благоухающие; помню, как хорошо Машенька пела во время прогулки. До сих пор помню наизусть все мелодии ее песен. До сих пор, при воспоминании, мне становится так же тепло, нежно и юно на сердце, как бывало тогда. Я ей отыскивал ее любимые цветы в лесу. У нас были любимые скамейки, где мы отдыхали. Был темный \*\*\*\*\* сырой грот, полный зеленью, в нем постоянно сочился ключ, капал и звучал по капле, падая в воду. Была соломою крытая беседка на крутом берегу; помню раз, как там хорошо \*\*\*\*\* Машенька пела, какой-то мотив из времен герцогини La Vallière.

Между тем слово «любовь» не было произнесено между нами. Все наше сближение было девственно-робко и застенчиво. Я тосковал по слову признания, мне его недоставало. Я написал на клочке бумаги: «Любите ли вы меня?»—и подал ей потихоньку, мимоходом, в окно\*\*\*\*\*террасы. Она мне таким же способом написала короткое: «Да!»—И мне стало бесконечно хорошо на белом свете. Душа переполнилась, мне надо было высказать тебе мою любовь и мое блаженство. Я написал к тебе по секрету письмо. Ты отвечал мне с нарочным. Твой Петр Федорыч приходил часу в пятом утра. Сначала его интересовала наша переписка, т. е. интересовало подслужиться нам. Ему идти было, по крайней мере, два часа со Старой Конюшенной в Кунцево и два часа обратно. Моя комната выходила окном на террасу. Петр Федорыч в пятом часу постукивал тихонько в окно. Я вскакивал, получал твое письмо, отвечал, плакал от счастья; потом вполголоса смеялся с Петром Федорычем о том, что никто не знает и не догадывается о нашей переписке, и он уходил с тем, чтоб быть дома налицо, когда Иван Алексеевич встанет. Что я писал, что ты писал? Не помню. Письма не сохранились. Помню только, что мы употребляли алгебраические буквы и формулы вместо имен, чтобы никто не догадался, если бы письма попались. Как все это младенчески \*\*\*\*\* , забавно \*\*\*\*\* и хорошо.

\* Далее зачеркнуто: остальной компании

\*\* возрастая (итал.).

\*\*\* Далее зачеркнуто: эти удивительные

\*\*\*\* Далее зачеркнуто: и ночи

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: удивительный

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: удивительно

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: балкона

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: смешно

\*\*\*\*\* Далее зачеркнуто: вместе светло и изящно

В саду, у реки, на скамейке под высокою липою — сидел я с нею. Солнце заходило за поляной так ясно, река была такая светлая, лес такой пахучий... Я держал ее за руку, голова моя лежала на ее плече, мы оба плакали от полноты счастья...

На этом месте я перерву эту главу. Я опущу все постороннее, оно было незначительно. Я перерву ее здесь, чтобы у тебя осталось светло на сердце, когда ты ее прочтешь, и чтоб я сам, перечитывая ее, мог \* опять тихо погрузиться в это сновидение с его теплым летом, его лесными звуками, мягким вечерним переливом света и тени и мягким дыханием молодой любви.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

«ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ»

Глава вторая

Да! 1825 год имел для России\*\* огромное значение. Для нас, мальчиков, это было нравственным переворотом и пробуждением. Мы перестали молиться на образа и молились только на людей, которые были казнены или сосланы. На этом чувстве мы и выросли с Сашей. Годы подвигались, мы вступили в Университет, в математическое отделение. На могу не упомянуть из этого времени профессора\*\*\* Перевозчикова, который был профессор отменно даровитый, человек с хорошими убеждениями и имел на нас превосходное влияние\*\*\*\*. Я, кроме математики, занимался стихотворством и музыкой. Так мы и доросли до 17-летнего возраста. Вот вдруг в одну прекрасную ночь приезжает ко мне полицмейстер Брянчанинов (да еще старый приятель нашего семейства) и берет меня под арест. И вот я нахожусь взаперти в частном доме. Но они со мной обращались хорошо, потому что отец мой был богатый господин.

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 38, л. 50.

\* *Далее зачеркнуто*: погрузиться в молодое чудное сновидение, полное лесных звуков, летнего, мягкого, вечернего света и тени и мягкого очарования... дыхания любви. ■

\*\* *Далее зачеркнуто*: великим возникновением

\*\*\* *Далее зачеркнуто*: Щепкина

\*\*\*\* *Далее зачеркнуто*: Талантливые люди, а как люди просто, люди с глубоко